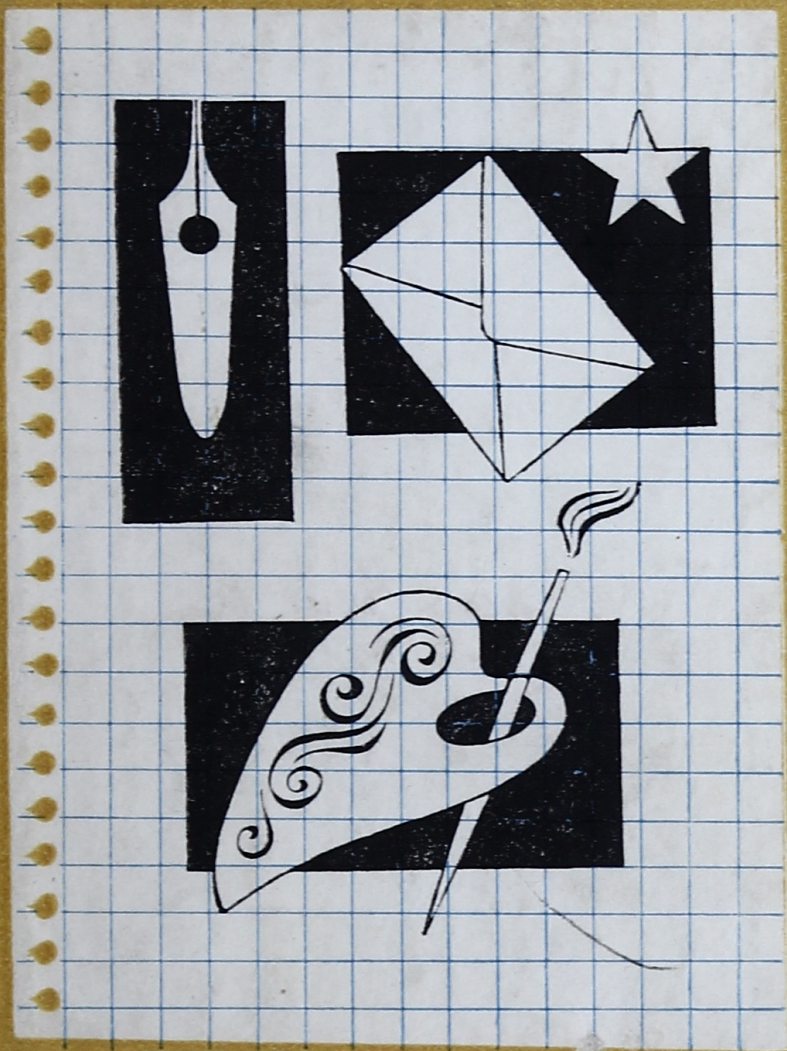


17.209 К 7  
ВИТАЛИЙ СЕРДЮК

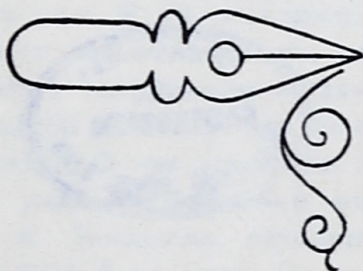


Я ВМЕСЬ ЯЧТО

ВИТАЛИЙ СЕРДЮК

к.р. 14.209.

# ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ



ВЕРХНЕ - ВОЛЖСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЯРОСЛАВЛЬ 1978

94

-- 2010

## ВЫШЕ СМЕРТИ

### I

Стопка белых, непорочно чистых листов бумаги манит и одновременно пугает... Как рассказать об этой короткой жизни, какие слова найти?.. Вновь и вновь перебираю фотографии Николая: взгляд серьезный, сосредоточенный, даже чуточку настороженный. Но кажется: вот сейчас он опустит плечи, расслабляясь, и насмешливо прочитает:

Как жил, кого любил, кому руки не подал,  
с кем дружбу вел и должен был кому —  
узнают всё,  
раскроют все комоды,  
разложат дни твои по одному.

Я, будто и в самом деле, вдруг слышу его голос, вижу, как он время от времени откидывает назад упавшие на лоб русые волосы... Словно он здесь, рядом со мной.

Мне хочется возразить ему, сказать, что не всегда комоды раскрываются для того, чтобы перетряхнуть «старое белье», педантично, с холодным сердцем разложить по реестрам чью-то жизнь. Если бы он и в самом деле сидел рядом, в ответ на его стихи «о комодах» я напомнил бы ему:

— А помнишь, ты писал?..

Мы были высоки, русоволосы.  
Вы в книгах читаете, как миф...

Напомнил бы о его собственном завете:

Но только пусть под именем моим  
Потомок различит в архивном хламе  
Кусок горячей, верной нам земли...

Он молчит. Взгляд устремлен мимо меня. Быть может, он вспоминает прошлое — безудержье белых садов, школу, старую свою школу с оббитыми ступеньками лестницы, или девочку с чудесной толстой косой меж худеньких лопаток, или Москву, университет, читальню на Моховой, общежитие на Стромынке, полудночные споры вперемешку со стихами, или — войну?..

Нет, он верил, что потомок отыщет «в архивном хламе» приметы горячей жизни парней его поколения. И вот теперь мы знаем, что жизнь и творчество самого Николая Майорова — одно из свидетельств тому.

Мне очень хочется, чтобы о нем помнили светло и торжественно, с болью и радостью.

Он не был падох до славы, он даже не успел коснуться ее. Он, как птица, пел свои песни, потому что не мог не петь. Со временем слава сама бы нашла его, прилетела бы к нему на сильных крыльях поэзии. Он серьезно готовил себя к долгой и трудной работе в литературе, а труд, привитый к таланту, всегда давал великолепные плоды.

Внутренний мир Николая Майорова был глубок, тонок и сложен. Он не успел переформовать этот мир в стихи. Он только приступал к этой работе. Но его лучшие произведения, как отметил Сергей Наровчатов, «это уже стихи молодого мастера, хрестоматийные произведения, без которых немислима любая антология советской поэзии XX века».

Писать о Николае Майорове трудно, потому что...

«Потому что ничего героического я не совершил, — снова будто слышу его голос. — Потому что жизнь моя бедна внешними приметами. Да и откуда им было взяться, если прожил-то я не пятьдесят, не сорок и даже не тридцать — всего двадцать два. До смешного мало...»

— Мало. До обидного мало. Двадцать два... Это лишь зачин жизни. И тем не менее это был красивый и мужественный зачин, многое обещавший нашей литературе. За твоей судьбой я угадываю судьбу целого поколения, поколения, которое неразрывно связано с моим, с теми, которые идут следом, — судьбу поколения, которое пускало вспять реки, искало «крутых путей к последней высоте», возводило леса новостроек на Амуре и Днепре, переустраивало родную свободную землю... И потом, когда пробил грозный час войны, вы грудью перехватили тяжелый фашистский свинец, нацеленный в сердце России. Ты был одним из трубачей своего поколения. А трубачи всегда впереди.

**Слышишь, мир произрастает!**

Была весна. Весна цветения. Сады, еще недавно черные, нагие, буйствовали, пенились зеленью и белым цветом, и под этим неудержимым напором жизни, казалось, стонали и кренились дощатые заборы.

На высоких березах, полоскавших свои могучие ветви в синем небе, висели, как широкие малахай, отстроенные гнезда. Их обитатели, то улетающие, то возвращавшиеся, были сосредото-

точенно-молчаливы: минула пора грачиного грая.

Немощеную дорогу с обеих сторон обступали раскустившиеся акации и вишни, и оттого узкая улица казалась еще теснее.

В стеклах тихих домиков жмурилось конопатое солнце, а на заглядывающий в окна буйный этот мир с подоконников взирали надменно-красивые, ухоженные глоксинии, фуксии и еще невесть каких мудреных названий цветы.

Стоило пять минут побыть в этом чудном уголке, как начинало казаться, что ты на тихой деревенской улочке, что и весь белый свет вот так же покоен, цветист и радостен, что за этими домиками и садами нет никаких троллейбусов, трамваев, многоэтажных домов, кранов... Но, увы, это был лишь кусочек большого промышленного города, чудом оставшийся нетронутым всего в каких-нибудь пятнадцати минутах езды от центра Иванова. Это был — как я его окрестил — «майоровский уголок». И нетрудно представить было здесь Колю Майорова, Сашу Устинова, Федю Салухова и других ребят с 1-й Авиационной улицы, так же, как вот эти, сегодняшние, мальчишки, гонявших некогда футбольный мяч по овражку, радовавшихся цветению, первому грому, ливню, который «...шел, смещая грани, меняя краски и тона».

На весенней улочке его детства я как-то очень осязаемо понял, откуда в его лирические стихи пришло удивление перед силой и красотой природы, ее гармонией, перед вечностью обновления и жизнью. Именно тут он однажды

услышал, как все глубже «вползают в землю щупальцами корни», почувствовал, как все это зеленое, живое — деревья, кусты смородины и малины, трава — полнится соками, торжествует, живет, как «мир произрастает из первозданной матери — воды».

В ту предвоенную пору здесь была окраина Иванова. Рядом с ней находился, как его называли, Южный аэродром. Потому и названия улицам давали соответствующие — Авиационная, Аэродромная, Летная, Южная... Город за минувшие десятилетия раздвинул свои границы, шагнул в поля, к ближним лесам. А тогда, в 30-е годы, здесь, на 1-й Авиационной улице, большая семья Майоровых ставила дом. «Парадом» командовал, конечно, отец — Петр Максимович. Помощниками у него были старшие сыновья Алексей и Иван. Находилось дело и Николке — поднести доску, подать инструмент, вколотить гвоздь, присмотреть за младшими — Шуркой и Виктором.

Переднюю часть Петр Максимович срубил сам, благо плотник, всю жизнь с топором в руках. На заднюю — пошел старый и обжитой уже домишко, перевезенный из деревни Павликово, что на Владимирщине.

Наконец сдвоенный дом глянул на улицу застекленными окнами. Крыша над головой есть, теперь можно жить.

Как-то так получилось, что трава перед домом Майоровых не росла: ее с весны выбивали десятки ребячьих ног. У каждого из братьев быстро нашлись друзья-приятели, они-то вечно и грудились у двора. Здесь, на лысом пятачке, играли в лапту, «попа-гонялу», здесь же прутиками и щепками мальчишки постар-

ше чертили в пылу споров формулы, геометрические фигуры, доказывали теоремы, а вечерами тут затеивались танцы под гармошку.

Братья были веселые, дружные, смекалистые. Да и родители — Петр Максимович и Федора Федоровна — не шугали ребятню: всё лучше, если дети на виду.

Иной раз, в кругу семьи, наблюдая, как сыновья старательно корпят над учебниками и тетрадками, разложив их на столе и подоконниках, Петр Максимович похвально говорил в усы:

— Учитесь, мальчишки, учитесь... Жизнь такая приходит, что без науки этой шагу скоро не шагнешь. Что вот мы с матерью — два неуча... Ишь, она расписаться и то не может... Дело ли!

Федора Федоровна помалкивала, улыбаясь каким-то своим мыслям. Была она человеком молчаливым, тихим и вроде бы неприметным в доме. Не любила и с соседками язык «чесать». Но за немногословием скрывался недюжинный характер, крепкая крестьянская сметка. Так что при решении важных семейных вопросов слово ее было не последним, а скорее решающим. И хозяйство она вела как надо. Дети всегда были накормлены, обстираны, одежонка заштопана, в доме все прибрано и выскоблено.

Из детей она больше других любила Николку. Может, потому, что уже в детстве разглядела в нем свой характер, свою задумчивость и молчаливость, свою щепетильную аккуратность.

— Ну что, мать, улыбаешься? — поднимал брови Петр Максимович. — Не так говорю?



— Так, отец, — кивала она. — Только я и неученая-то, когда ты в германском плену был, вон каких сынов вырастила. — И любовно оглядывала Алексея и Ивана. — А было б их, как нынче, пятеро, и пятерых бы подняла...

— Да, покормил я за три-то года германских вшей, — настраивался на волну воспоминаний Петр Максимович. — А хуже вшей, скажу я вам, унижение, неволя... Сидим, бывало, с горемыками-солдатыками на нарах и толкуем: как же это так, Россия наша чуть ли не на полмира раскинулась, Германия-то супротив ее — этакийнякая, как воробей супротив орла, а вот поди же, не германец, а мы, русские мужики, колючей проволокой по рукам, по ногам повязаны... Да разве дело это! И ведь не скажешь, что мы трусы были, не храбры... Только почему-то немчуры завсегда больше оказывалось, и вооружение у них справней, и выучка...

Мучили старого солдата воспоминания, занозой в сердце сидела уязвленная гордость, боль за Россию. И откуда ему было знать, что всего через несколько лет с тем же германцем, но еще более сильным, оголтелым и жестоким, предстоит биться насмерть его сыновьям. Но пока было у них еще время многому научиться, многое узнать.

В годы первых пятилеток Иваново, как и вся страна, представляло из себя большую строительную площадку. По соседству со старыми мануфактурами поднимались корпуса новых фабрик, комбинатов, заводов, строился городской водопровод, прокладывались трамвайные пути, возводились новые здания... Областная газета тогда писала: «Нас трудно уди-

вить, но открытие меланжевого комбината — событие исключительное даже в наши дни. Пятилетка открывает перед нами богатейшие возможности, но самым ценным из всего этого является творческая энергия рабочего класса. Сейчас, на примере меланжевого комбината, мы убеждаемся в том, что благодаря этой энергии масс мы можем делать изумительные вещи. Полтора года назад здесь был глухой пустырь, а сейчас, на месте выкорчеванных пней, гигантская фабрика — гордость Советского Союза...»

Ивановский рабочий класс не только отстраивал свой родной город, а, следуя добрым пролетарским традициям, направлял своих лучших представителей на важнейшие стройки пятилеток, на работу в угольной промышленности, на транспорт, на лесозаготовки, на укрепление вооруженных сил страны...

В стороне от этой бурной, захватывающей дух жизни, конечно же, не могли стоять братья Майоровы. Алексей, уже отслуживший положенное в армии, уезжает учиться в трехгодичную летную школу в город Энгельс. Ивана потянуло в светлые корпуса фабрик-новостроек, и он, закончив рабфак, поступил в текстильный институт. Ну, а младшие пока бегали в школу...

У окраин свой уклад жизни, свои уличные законы и проблемы. Свадьба — так на всю улицу. Поминки — так честь по чести, проводят в последний путь всем миром. Но подчас рядом с рабочим человеком тут уживался всякий сброд. Это отребье — порождение голодных лет, разрухи и беспризорщины — развращало многих подростков, насаждало свои

нравы, тянуло к картам и пьянству. Братьев Майоровых — дружных, работающих — все это почти не коснулось. Видели они, как отцу, работавшему плотником на заводе, трудно содержать семью. И ничего, что обновки были редкостью, что младшие, как правило, донашивали то, что не годилось уже старшим. Главное — учиться, познать мир, приобрести специальность, помочь отцу и матери. Позднее, вспоминая свое детство, Николай Майоров напишет:

Забудем то, что полюбилось людям.  
Уйдем туда, где ветер да столбы,  
где лес пророс до берега. Забудем  
весь этот мир отчаянной гульбы.  
Извечных просьб, сплошных недомоганий,  
мир мелких выгод, духоты квартир.  
Забудем скуку у подъездов зданий,  
где мы встречались часто. Новый мир  
новых высот и помыслов распахнут, —  
возьми его и ощути на вес.

Часто в тихую, размеренную жизнь улицы врывались события, поражавшие воображение: эпопея «Челюскина», рекорды Алексея Стаханова и ткачих Дуси и Марии Виноградовых, беспосадочный перелет Чкалова, Байдукова и Белякова через Северный полюс. Эти события будили в мальчишках мечту о рекордах, подвигах, странствиях, открытиях.

Парнишку с фабричной окраины настойчиво звал этот новый, большой мир, лежащий за порогом отцовского дома. С чем придет он в него, как и с кем ему предстоит строить его, чтобы он был еще краше? Может быть, своей песней? Но пока Коля и сам этого не знал. Пока он ничем не отличался от своих сверстников, и так же, как к родителям его прияте-

лей, прибежала к Петру Максимовичу иная тетка и на всю улицу «честила» его Кольку за разор огорода или оборванные яблоки.

Однако приструненным мальчишкам и после увесистой родительской затрещины не сиделось тихо и смирно. Тот «бес», который сидит в каждом непоседе, толкал их на новые «подвиги», на новые испытания. И они находили их в лесу, за огородами, на реке, где можно было, нырнув, цапнуть со дна глубокого омута ракушку и влезть на самую высокую березу, испытать самопал или, уняв страх, напружинившись, сойтись в кулачном бою, и не потому, что твой соперник — враг тебе: надо же когда-нибудь испытать зудящую в руках силу.

И бились честно. Полагалось  
Бить в спину, в грудь, еще — в бока.  
Но на лицо не поднималась  
Сухая детская рука.

Да, истина: больше всего открытий человек совершает в детстве. Большой и противоречивый мир, раздвигая свои границы, вызывает тысячи вопросов. Иногда ответы на них можно отыскать самому, на другие ответят мать, отец, братья, учителя, книги... Но сколько таких, на которые никто не может дать ответа. Почему фабричные трубы похожи на рога огромного неведомого существа? Почему облака — «точно белые чьи-то рубахи»? Почему рядом существуют правда и ложь, прекрасное и безобразное? И вместе с этими извечными вопросами в сердце Коли Майорова входило удивление, желание разобраться, понять. Он удивлялся таким простым и понятным для других вещам — голубизне неба, округло-

сти яблока, лёту птиц, способности человека видеть, слышать, думать, страдать, любить, созидать... Не с этого ли стихийного, всеобъемлющего удивления начинается творец — художник, ученый, поэт?

Есть жажда творчества,  
Уменье созидать,  
На камень камень класть,  
Вести леса строений.  
Не спать ночей, по суткам голодать.  
Вставать до звезд и падать на колени.  
Остаться нищим и глухим навек,  
Идти с собой, с своей эпохой вровень  
И воду пить из тех целебных рек,  
К которым прикоснулся сам Бетховен.  
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,  
Весь мир вместить в дыхание одно,  
Одним мазком весь этот лес и камни  
Живыми положить на полотно.  
Не дописав,  
Оставить кисти сыну,  
Так передать цвета своей земли,  
Чтоб век спустя всё так же мяли глину  
И лучшего придумать не смогли.

И это тоже напишется позднее.

Однажды неподалеку от города разбился самолет. Бегали смотреть. Искореженная машина, гибель летчиков потрясли Колю. Потом были похороны на Успенском кладбище. А вечером Николай читал друзьям стихи, которые заканчивались строфой:

О, если б все с такою жаждой жили!  
Чтоб на могилу им взамен плиты  
Как память ими взятой высоты  
Их инструмент разбитый положили  
И лишь потом поставили цветы.

Впоследствии он вновь и вновь будет возвращаться к теме подвига во имя Высоты, осваиваемой советскими людьми во всем — в работе, в творчестве, в любви...

Куда ни глянь — сплошные травы,  
Любая боль была горька.  
Для нас, нескладных и упрямых,  
Жизнь не имела потолка.

### Э т о — л ю б о в ь

Ее зовут... Впрочем, не в имени дело. Она принадлежит к числу тех людей, которые тихо несут в глубине сердца прошлое.

Передо мной сидела уже немолодая женщина — жена, мать, бабушка. Прячется, маскируется в волосах беспощадная седина. В глазах — усталость и грусть. Но в прямом твердом взгляде, в спокойном благородстве лица угадывается недюжинная воля человека, много видевшего и испытывавшего в жизни, умение владеть собой. Эти умные и добрые глаза, вероятно, видели сейчас через годы — и его, и себя — юную, красивую, гордую и, что греха таить, знавшую, что многие мальчишки почли бы за честь понести из школы ее портфель. Но час ее первой любви еще не пробил, хотя обязательно должен был пробить. Скоро, вот-вот...

Зимние каникулы. Школьный вечер. На темных стеклах искрами, как звездочки, вспыхивают блески инея. Там, за окном, — мороз, сугробы, редкие скрипы шагов, а здесь — свет, шум веселья, бумажные фонарики, запах елки...

Но вот на сцену поднимается девушка-конферансье.

— А сейчас стихи собственного сочинения читает Николай Майоров.

В дешевеньком костюме, со старательно на-

веденными на брюках стрелками, он стоит перед залом и молчит: ждет, когда стихнет шум. Наконец поднял голову, вздернул подбородок и глухо уронил:

— Стихотворение называется «Осень».

Чуть помедлил и начал читать:

Кончался август. Ветер в груши  
бросал предутреннюю дрожь.  
И спелый колос грустно слушал,  
как серп жевал сухую рожь.  
Рябины красными кистями  
свисали ниже над землей.  
Качались ивы над домами,  
заплакав ржавую слезой.

Рука его рубит воздух, а пальцы сложены так, будто он держит невидимую дирижерскую палочку. Завораживающая музыка стихов льется в зал...

Еще и еще читал Майоров, а зал каждый раз отзывался аплодисментами, щедро награждая своего лучшего школьного поэта...

Вновь играла музыка, кружились пары. Только на минутку осталась она одна, без подружек, как рядом оказался Николай.

— Слушай, домой вместе пойдем.

— Хорошо.

И, уже глядя ему вслед, всполошно подумала: «Что это с нашим комсомольским секретарем?.. Неужели пропустила ошибку в газете?.. Здесь не хочет настроение портить. Ну, отчитает!» Представила себе стенную газету, как бы пробежала по столбцам... «Может, не надо было помещать карикатуры? Коля Шерберстов так здорово нарисовал... Да нет, Майоров вроде всегда понимал юмор...» Удивительно, до восьмого класса он был как-то незаметен в классе — очень тихий, стеснитель-

ный, и, что пишет стихи, никто не знал. А вот когда начали «издавать» в классе рукописный журнал «Ростки», вдруг оказалось, что Майоров незаменим в этом деле.

Долго шли молча. Пересекли Негорелую, затем улицу 10-го Августа и вышли на Московскую.

— Хорошие стихи ты сегодня читал, — похвалила она.

— Не надо, — остановил он. Помолчал и добавил: — Странная штука: прочитаю вот так, на народе, и вдруг почувствую, как плохо написал, как вяло, стыдно как-то... Картиночка, не больше. И слова не те. Надо бы, знаешь как... Чтобы движение было, чтобы чуялись запахи, чтобы жизнь клокотала. Вот у Есенина. — Он остановился и прочитал: — «Несказанное, синее, нежное... Тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя — поле безбрежное — дышит запахом меда и роз». Слышишь? Одно это — «несказанное, синее, нежное» или — «душа моя — поле безбрежное» чего стоят.

— Но и у тебя, Коля, по-моему, тоже неплохо звучит про то, как ветер в груши бросал предутреннюю дрожь... Зримо.

— Чудно, — сказал он. — Почему-то зимой мечтается о весне, о лете, а летом наоборот — о чистом снеге, о ядреном морозце. Есть тут какая-то закономерность.

Она ждала: вот заговорит о стенгазете.

На той стороне улицы из-за сугробов поскрипывали окнами дома. Пошел снег. Тихий, бесшумный. Пора было прощаться.

— Постой, — остановил он. — Я хотел сказать тебе... Знаешь... я тебя люблю...



Он сделал было шаг к ней, но поскользнулся и упал. Все это было так неожиданно: объяснение, падение... Поднялся и, отряхиваясь, смущенно пробормотал:

— И я у ваших ног...

С тех пор они стали вместе ходить из школы. Московская улица, где она жила, вливается в 3-ю Лежневскую, которая пересекает 1-ю Авиационную, его улицу... С ним было интересно. Оказалось, что Николай необыкновенно начитан, много знает и судит обо всем как-то по-своему, оригинально. Вначале она поражалась этому. Потом привыкла и уже считала, что так и должно быть. С ним было интересно еще и потому, что он был хорошим рассказчиком, знал массу стихов. Читал по памяти Есенина, Блока, Маяковского, Асеева, Пастернака... Он любил, как сам говорил, «весомые слова». Однажды Коля спросил ее: «А что, если написать: «Безумный инок плакал за оградой?»»

Порой ей казалось, что каждый день у него расписан по минутам — как часто жаловался он на недостаток времени! Он торопился, как будто знал, что отпущено ему всего двадцать с небольшим...

С кем дружил? Самыми близкими друзьями были одноклассники Костя Титов и Коля Шеберстов. Каждый из этой троицы был сам по себе незауряден. Константин впоследствии стал профессиональным актером, а Коля — художником. К этим талантливым ребятам тянулся и младший по возрасту Владимир Жуков, тоже писавший стихи.

Представить эту троицу друг без друга было просто невозможно, так же как предста-

вить их грустными, унылыми. Там, где были два Коли и Костя, постоянно звучал смех, «решались» какие-то мировые проблемы, что-то низвергалось, а что-то возводилось на пьедестал, разыгрывались уморительные сценки. Признанным «смехачом» был, конечно, Костя. Не только ребята, но и учителя нередко говорили ему: «Тебе в театр нужно, Титов».

Друзья особенно любили походы по книжным магазинам. Заходили в один, перебирали томики, рассматривали иллюстрации, взглядывали на цены, чесали затылки. Наконец Костя поднимал голову и обращался к продавщице с вопросом:

— Будьте настолько любезны, скажите, не получали ли вы в последнее время сборник стихов Майорова?

— Майорова? Не знаю...

— Ну что же вы, это же известный поэт, можно сказать, молодая восходящая звезда...

— Право, впервые слышу.

— Костюха, перестань, — тихонько толкал приятеля в бок Николай.

Но того уже невозможно было остановить.

— Сразу видно, что вы не следите за прессой. Как же так? Майоров это... это где-то рядом с Пушкиным...

— Ну, молодой человек, тут вы...

— Ей-ей! — не унимался Костюха. — Это нечто языческое, поэзия овеществленных образов, читаешь — и в дрожь бросает от проникновения в суть человека...

Николай чувствовал, как жаркая кровь заливает лицо, он поворачивался и стремглав выбегал из магазина.

На улице Николай набрасывался на друга:

— Слушай, брось ты свои шуточки... При всем народе...

— Ничего, Никола, пусть привыкают к твоему имени, — успокаивал Костя. — Ведь когда-нибудь да будешь ты знаменитым, и книжки у тебя будут.

Заходили в следующий магазин. И все начиналось сначала.

— Хватит, Костька, — пихал друга Николай. — Старо, придумай что-нибудь поновей.

— Всё—всё. Мир и дружба! — соглашался Титов и вновь устраивал разнос в очередном магазине за незнание стихов и имени Майорова. Тут уж Николай не выдерживал — заливался таким хохотом, что на глаза навертывались слезы.

Через много лет Константин Григорьевич Титов скажет о нем: «Он необыкновенно любил смеяться, а я, видимо, был потешным комментатором... Николай в таких случаях заливался до кашля. Более непосредственных и несдержанных в смехе людей я не встречал ни до, ни после. Кстати, эта Колина и моя «слабость» не раз приводила к катастрофе на уроках. Я — «поддавал», а Николай, невзирая на опасность быть выгнанным с урока, заливался, краснея и кашляя при этом до слез. Разумеется, мне это доставляло наслаждение».

И вот в жизнь Николая ворвалась любовь. Первая, юношеская. Она ошеломила его, наполнила все окружающее каким-то иным смыслом. Друзья вначале подшучивали, а потом поняли: это серьезно. А Коля, едва расставшись с девочкой из своего класса, уже с нетерпением ждал следующего утра, чтобы вновь увидеть ее.

Я был высок, как это небо,  
Меня не трогали цветы.  
Я думал о бульварах, где бы  
Мне встретилась случайно ты,  
С которой я лишь понаслышке,  
По первой памяти знаком —  
Дорогой, тронутый снежком,  
Носил твои из школы книжки.

Откликнись, что ли!  
Только ветер  
Да дождь, идущий по прямой...  
А надо вспомнить —  
Мы лишь дети,  
Которых снова ждут домой,  
Где чай остыл,  
Черствеет булка...  
Так снова жизнь приходит к нам  
Последней партой,  
Переулком,  
Где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,  
А где-то сзади, невпопад,  
Проходит детство, и валторны  
Словами песни говорят.

Однажды он подарил девочке с Московской улицы тетрадку со своими стихами. И радостно забилося сердце у нее, когда она прочитала на первой странице: «Скажи мне, ветер: не встречал ли девушку, как песенка моя?..»

Прошло много лет, но как часто видит она несколько неуклюжего, угловатого юношу с обыкновенным, в общем-то, лицом. Девушки обычно проходят мимо таких, внешне заурядных парней: широкоскулый, нос чуть вздернут... вот разве только глаза — серые, с зеленоватыми искорками на дне, и такие горячие, что казалось, у Николая всегда держится высокая температура, да ресницы — чудесные пу-

шистые ресницы... Случайному взгляду недоступно было увидеть внутреннюю силу этого юноши, целеустремленность, острый ум, душевную чуткость и трепетность.

Поражали его руки. Удивительно изящные, руки интеллигента. Такие же руки были у его отца — плотника. Их не изломали, не измяли ни топор, ни рубанок. И сам Николай никогда не чурался физического труда.

Он всегда хорошо учился, не любил бросать слов на ветер. Был честен. Прямо. Немного словен. Ребята, бывало, ершатся, спорят до хрипоты, а он сидит в сторонке, улыбается и молчит. Если же его просили высказать свое мнение, говорил доказательно, убежденно, и к этому уже вроде нечего было добавить.

...Многие стихи в этой тетрадке были посвящены ей. Но шло время, и одноклассники стали замечать, что она сторонится Николая. И не потому, что прошла пора детства, а с ней и первое чувство. Все чаще она ощущала недомогание. Врачи вынесли тяжкий приговор: базедова болезнь.

Николай пытался ободрить ее, говорил:

— Перемелется. Помнишь, как я «куриной» болел... Ты же знаешь, Шурка меня и в школу провожал, и встречал. Перемололось же. Врачи мне так говорили: «Витамина А не добираете, молодой человек. Ешьте больше сливочного масла, овощей, фруктов...» Может, и ты чего-то не добиралась?

Она пожимала плечами и спешила уйти, не желая принимать от него сочувствия и жалости. И еще больше замыкалась. Трещинка, появившаяся в их отношениях, неприметно для постороннего глаза ширилась, расплзалась...

А вскоре пришла пора прощаться со школой, выбирать в жизни дорогу.

Николай решил поступать в Московский университет, на истфак, ибо он, как вспоминает Владимир Жуков, «поэтом быть не собирался, считая, что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый, такого ряда, к какому себя не причислял». Может, и так, может, и не собирался. Только ведь он уже был поэтом, пусть начинающим, не окрепшим еще, но поэтом. Его юношеские стихи были во многом подражательны, и он сам чувствовал это, но чувствовал он и другое, что в них уже звучит и его, майоровский, голос.

В том, что он решил поступать на истфак университета, а не в Литературный институт, немалую роль сыграли мнения отца и братьев. В этой рабочей семье ценился человек, имеющий «твердую» профессию — плотника, ткача, учителя, инженера... Близкие не отваживали Николая от сочинения стихов, но понимали, видимо, что для писательского труда нужен талант. А кто из них решился бы сказать — наделен им Николай или нет?

## II

Временами мне кажется, что Николай Майоров — «мой» Майоров, «вылепленный» моим воображением, — становится настолько реальным, что я как бы слышу его голос и вижу, как меняется выражение его лица, как оживают, полнятся радостью или становятся задумчивыми его глаза...

«И вот я — студент Московского университета, знаменитого Московского... Это были незабываемые дни. Казалось, в ду-

ше моей без умолку день и ночь играл большой оркестр. Хотелось каждому встречному рассказывать о своем счастье... Ну, конечно, по случаю зачисления в общежитии устроили пир. По коридорам ходили веселые, разбузвившиеся ребята, иногда кто-нибудь забредал к нам в комнату, и мы щедро предлагали гостю испить «целебный» напиток — мою любимую мадеру. А потом, уже на правах студентов, бродили по университету, где каждый камень, казалось, отмечен печатью истории, несет след великих сынов России — Радищева и Грибоедова, Лермонтова и Сеченова, Герцена и Тимирязева... Как магическое заклинание повторяли мы слова Михайлы Ломоносова, что должно «привести в вожделенное течение университета, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы». Нет, а какво сказано — «привести в вожделенное течение»! И ведь привели, и произошли... Десятки, сотни воспитанников университета могли бы сказать о себе стихами Николая Платоновича Огарева:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,  
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,  
С желаньем истины, добра желаньем,  
С любовью, с поэтической мечтой,  
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,  
И юных сил мы в битве не щадили.

Мы готовы были низвергать устаревшее и открывать новое, нам страшно хотелось ко всему приложить свои мысли и руки, хотелось как можно больше узнать, хотелось работать, любить, мечтать — и всем этим утверждать то, что было завоевано предшественниками, что будет завоевано нами. Именно в те дни я написал:

Отцы мои! Я следовал за вами  
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,  
Глаза мои не обожгло слезами,  
Глаза мои обращены на всех.

Писалось тогда легко и много. Я вдруг почувствовал, как мир будто раздвинулся передо мной, а горизонт стал необъятным. Хотелось писать такие стихи, находить такие слова и образы, чтобы они были пропитаны самой жизнью, чтобы они жгли сердца, волновали. Кое-что из написанного ранее нравилось друзьям, но я чувствовал: до сих пор я только нащупывал свой путь в страну Поэзию, скорее интуитивно, полагаясь на чутье и, так сказать, лирический восторг. Нужно было учиться. Вот почему параллельно с занятиями в университете я стал посещать еще семинар Павла Антокольского в Литературном институте. Учеба, книги, споры, поэтические вечера, ночные бдения над стихами — вот мои московские будни. И все-таки лишний час сна казался мне преступлением...»

Николай вдруг умолк, опустил глаза..

Облик моего «собеседника» постепенно ступшевывается. Я думаю о тех, кто сохранил в своих сердцах память о нем, кто принес людям его талантливые стихи. Это Владимир Жуков и Виктор Болховитинов, Сергей Наровчатов и Михаил Львов, Андрей Турков и Михаил Луконин, Николай Банников и Николай Глазков, Даниил Данин и Борис Слуцкий, Ирина Пташникова...

Через много лет после войны в дом на 1-й Авиационной улице пришло письмо, письмо от Павла Григорьевича Антокольского —



одного из учителей Николая Майорова. Павел Григорьевич писал отцу Николая:

«Глубокоуважаемый Петр Максимович! Спасибо Вам, дорогой, за отклик на статью о Вашем замечательном сыне. Я горжусь тем, что немного способствовал сохранению памяти о нем, и глубоко надеюсь, что этим дело не кончится: мы, его друзья, старшие и младшие, будем еще собирать оставшиеся от него стихи и обязательно добьемся, чтобы их напечатали.

В тот же день... пришло еще одно [письмо] — от гражданки Ирины Пташниковой, которая хорошо знала Николая; она прислала одно его прекрасное стихотворение...

Низко кланяюсь Вам и матери Николая, Вашей жене.

Ваш Павел Антокольский».

#### По строчкам образ твой слагая

Каким же он остался в памяти людей, знавших его, в памяти друзей и товарищей?

*Владимир Жуков:* «Будучи в Москве, он не порывал с родной школой. В стенной «Литгазете» все так же появлялись его стихи, только уже не от руки написанные, а три или четыре стиха в газетных вырезках из университетской многотиражки, литотдел которой редактировал в ту пору «замечательный парень Виктор Болховитинов».

*Виктор Болховитинов:* «Мы стали друзьями. Николай писал очень много. Как одержимый. Писал на лекциях, в читальне... А после каникул возвращался из Иванова пря-

мо-таки «переполненный» стихами. Вечером мы забирались на чердачную лестницу старого университетского здания, и Коля читал новые стихи... Он рос на глазах, как сказочный богатырь... И теперь я горжусь, что когда-то первый подписал в набор его стихи, пусть это была всего лишь университетская многотиражка».

*Даниил Данин:* «Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена собралась на первое регулярное занятие студенческая литгруппа, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И все уже что-то знали друг о друге. Помню, как из разных углов раздались уверенные голоса:

— Пусть почитает Майоров, истфак.

И он встал где-то сбоку, этот «Майоров, истфак», и начал читать. Крепко стиснутым кулаком он словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строк. И сразу стало очевидно — это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета...

...Он поразительно не был похож на поэта... Ничего завидного во внешности, ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего...

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком... Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определен. Он не любил в стихах мно-

горечивой словесности, но обожал земную вещьность образа... Он был весь обещание».

*Николай Банников:* «Осенью или зимой 1937 года впервые подошел я к Николаю Майорову и познакомился с ним. Был я на курс старше Николая, никаких обычных студенческих дел у меня к нему в тот момент не было. Я подошел к нему как к поэту: заделли, привлекли, запали в душу его стихи, появившиеся в университетской многотиражке. Скоро мы знали друг друга уже близко, нас связывало многое».

«...Он говорил чуть окая, глуховато, неторопливо... Крепкий, довольно высокий паренек с угловатыми плечами, удивительно скромный, но и с твердым чувством внутреннего достоинства, по-своему очень серьезный, верный на слово товарищ. Был необычайно работоспособен... Эта его деловитость и собранность была тоже очень органичной, внутренней, в ней не было ни малейшего привкуса суетливости или нахрапа. Никогда не выскакивал вперед, не захватывал инициативы, не старался блеснуть попусту...»

*Сергей Наровчатов:* «Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух литкружков — университетского и гослитиздатовского. Николай представлял МГУ и был как бы центрфорвардом своего коллектива (употребляя старую футбольную терминологию). Мы — П. Коган, А. Яшин, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий и я — знали о Майорове понаслышке, отдельные строки были нам знакомы, но общего впечатления еще не было. И мы с ревнивой настороженностью встретили его

появление: мол, бахвалятся МГУвцы или  
впрямь заполучили хорошего поэта?

И вот на середину комнаты вышел угловатый паренек, обвел нас деловито-сумрачным взглядом и, как гвоздями, вколотил в тишину три слова: «Что — значит — любить». А затем на нас обрушился такой безостановочный императив — и грамматический, и душевный, — что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть не растерялись.

Идти сквозь вьюгу напролом.  
Ползти ползком. Бежать вслепую.  
Идти и падать. Бить челом.  
И все ж любить ее — такую!

«Такую» — он как-то резко и в то же время торжественно подчеркнул.

Забыть про дом и сон,  
Про то, что  
Твоим обидам нет числа,  
Что мимо утренняя почта  
Чужое счастье пронесла.

«А ведь хорошо!» — уронил сдержанный на похвалу Яшин. Майоров глазом не моргнул на первую реплику, пробивавшую атмосферу настороженности. Стихи неслись дальше:

Забыть последние потери,  
Вокзальный свет,  
Ее «прости»  
И кое-как до старой двери,  
Почти не помня, добрести,  
Войти, как новых драм зачатые.  
Нашупать стены, холод плит...  
Швырнуть пальто на выключатель,  
Забыв, где вешалка висит.

Две эти последние строки меня покорили, и я ударил кулаком по столу. Майоров толь-

ко покосился в мою сторону и продолжал обрушивать новые строки...

Майоров читал в тот вечер еще «Отелло» и «В вагоне». Когда в «Отелло» он прочел:

Ей не понять Шекспира и меня! —

мы заулыбались, но уже влюбленно заулыбались — он стал нам близок, этот ивановский мавр. Мне запомнилось, как он произносил «женщина». Вместо «щ» у него выходило «ч»...

...Он чем-то неуловимо напоминал героя «Юности Максима», только без лукавинки в глазах и углах рта, с которой Максим глядел с экрана...

Типичен как будто был он и в одежде, манере держаться. Чиненые башмаки, дешевый костюм, распахнутая рубашка...

...Сам он пролетарского происхождения никогда не подчеркивал и уж совсем не кичился им. В этом чувствовалось некое внутреннее целомудрие...»

*Борис Слуцкий:* «На рисунках Майоров более похож, чем на фотографиях. Лобастый, высокий и русоволосый, глядящий прямо в глаза, сдержанный, молчаливый (кажется, самый молчаливый из всех поэтов того немноглагольного времени), напряженный, очень добрый...

...Невозможно представить людей, более чуждых лести и фразерству, некритическому преклонению перед всякого рода авторитетами, чем Коля Майоров и его товарищи...

...У него была сложившаяся манера. Он меньше искал в форме, в технике, чем его товарищи... Майоров был по нашим тогдаш-

ним меркам — «классик», традиционалист, ямбист. Бури Хлебникова, гудевшие в провах молодой поэзии, его не задели. У Маяковского ему была ближе поздняя, державная, а не ранняя, бунтарская интонация».

*Михаил Львов:* «Я очень любил Колю Майорова. Он был сильнее меня. Сказать: завидовал — будет неверно. Я обожал его и любил его стихи, доньше помню их наизусть.

Мы часто ходили — плечо в плечо — по Москве, он читал мне свои стихи, стихи могучей жизненной силы, и я чувствовал вдобавок к тому, что восхищался стихами, трепет юношеской привязанности и верности к более сильному товарищу, абсолютно настоящему во всем...»

*Николай Глазков:* «Помню солнечный майский день 1940 года. При журнале «Молодая гвардия» существовало литобъединение, собиравшееся раз в неделю. Помню, молодые поэты, которые очень не любили, когда их называли молодыми, читали свои стихи. В тот солнечный майский день читали стихи многие поэты. Большинство из них демонстрировало незаурядную поэтическую технику. Стихи слушались с интересом, но не трогали. Чего-то им не хватало.

Одним из последних выступил Майоров, истфак университета — так его представили. Меня его стихи захватили, увлекли: у него в стихах было то, чего явно не хватало другим. Стихи Майорова подкупали своей жизненной правдой...

В тот майский день после чтения стихов я подошел к Коле Майорову, и мы познакомились. Я не утерпел и сказал, что стихи его

гораздо лучше, чем стихи... следовал перечень имен. Но Коля не поддержал меня, перевел разговор на другую тему, мои восторги были ему почему-то неприятны. Позднее, подружившись, узнав его хорошенько, я понял, что эта скромность была ненаигранной.

Коля Майоров не любил шумихи, охотно читал свои стихи одному, двум, трем товарищам, но не стремился покорять аудиторию. Ему было чуждо тщеславие...

Коля Майоров жил удивительно просто и скромно. Он не щеголял ни ярким галстуком, ни новым костюмом, чурался всего показного, избегал громких фраз. Он был человеком огромной жизнерадостности. Умел восхищаться искренне, по-детски...»

Если суммировать, обобщить все эти характеристики, то перед нами предстанет скромный паренек, приехавший из фабричного Иванова не «покорять» столицу, а учиться, не ошеломлять своих сверстников пока еще незрелыми виршами, а овладевать мастерством, испытать толику из огромной, мощной реки, имя которой — русская культура.

Внешне сдержанный, немногословный, он, когда речь заходила о чем-то принципиальном, был тверд, даже резок в защите своих позиций и убеждений. Такой не позволит себя унижить, не способен льстить, не будет прятаться за спины товарищей. Скромно одетый, постоянно испытывающий материальные затруднения, он честно и бескорыстно служил поэзии. Ради нее он готов был «не спать ночей, по суткам голодать».

Если бы свершилось чудо, если бы отыскалось то, что утеряно, — куски и главы поэм «Семья» и «Ваятель» да еще, верно, не один десяток стихов, — мы бы имели сегодня не одну, а, возможно, две-три такие книги, как его наиболее полная — «Мы были высоки, русоволосы...»

Но почему же при жизни Николая Майорова, уже немало сделавшего в поэзии, имевшего довольно внушительный для его возраста литературный багаж, было опубликовано всего несколько стихотворений, да и то не в большой печати, а в маленькой многотиражной газете? Одни утверждают, что якобы кто-то посоветовал Николаю не спешить с публикациями. Другие объясняют это его скромностью, чуть ли не полным отсутствием тщеславия. Третьи придерживаются мнения, что его стихи «выбивались из потока складных, но легковесных виршей, заполнявших тогда журналы и газеты».

Я не верю, что Майоров не хотел печататься. Иначе зачем ему надо было предлагать стихи в ту же многотиражную газету, отсылать их для школьной «Литгазеты»? А с какой гордостью, я представляю, с каким ликованием он написал на уголке сборника «Парад молодости», вышедшего в издательстве «Физкультура и спорт»: «Авторский. Ник. Майоров. 1940 г.». В этом сборнике было опубликовано одно-единственное стихотворение Николая — «На реке». Неважно, что одно. Но ведь напечатали! Да еще рядом с произведениями таких поэтов, как В. Маяковский, Н. Асеев, В. Лебедев-Кумач, А. Жаров...



И эта его радость очень понятна, потому что она естественна. Каждому человеку, работающему в искусстве, вне зависимости от степени мастерства, свойственно утверждать себя, искать выхода «в массы», ибо, будь то художник, писатель или музыкант, он адресует свое произведение прежде всего людям, от них ждет оценки своего труда.

Нет, Николай хотел печататься. Однажды он, сопровождаемый школьными друзьями, отправился в редакцию областной газеты «Рабочий край». Ребята остались ждать на улице, а Николай решительно ступил на порог редакции. Можно представить, как он волновался, какие мысли одолевали его, когда он остался один на один с редакцией, с каким страхом ждал приговора сотрудника литературного отдела, которому вручил заветную тетрадку...

Когда он предстал перед своими верными болельщиками и почитателями, постарался придать лицу спокойное выражение.

— Ну как? — обступили его друзья.

— Вроде бы понравились, — пожал он плечами. — Только, говорит, не газетные у меня стихи... Перемелется!..

Делал он попытки напечататься и в Москве. Товарищ Николая по университету — Александр Немировский вспоминает о таком эпизоде: «Я хорошо помню, как ждал Колю Майорова на улице у редакции «Знамя» в 1940 году и как через полчаса он вернулся, нет, не расстроенный, а взволнованный, непримиримый, с измятой тетрадкой стихов. Помню и другое, как пятнадцать лет спустя я сидел перед редактором в той же редак-

ции, с той же тетрадкой стихов Майорова. У редактора дрожали руки, когда он читал когда-то отвергнутые строки. У меня бешено колотилось сердце. Стихи ждали своего времени и дождались его».

Конечно, будь Николай понастойчивей, он мог бы полюбоваться некоторыми своими стихами, оттиснутыми на страницах газет и журналов. Но это было не в его характере. Он был человеком гордым, не умеющим приспособливаться, не желающим писать и переделывать свои стихи сообразно вкусам других, тех, кто требовал стихов «побойчей, позвонче». В его же стихах то ровно, широкой грудью дышала земля, то блистали молнии и шумели ливни, то текла «отворенная» кровь, то клокотали страсти... Печатать такие стихи было, видимо, хлопотно. Легче похвалить юношу и сказать: «До свидания!»

А Николай Майоров, внешне спокойный, уравновешенный, был, как все поэты, человеком легкоранимым, обидчивым. Но сильнее обид была его любовь к поэзии, вне которой он не мыслил своего существования. И вновь ночами, а то и на лекциях, с еще большей яростью искал он и находил те единственные весомые слова, которые были нужны ему, искал краски, образы, сравнения, ритмы — облекал свой стих в живую, реальную плоть.

Как поэт он рос бурно, подчас даже кажется — от стихотворения к стихотворению. Если разложить их по датам, то станет очевидно, как вместе с крепнущим мастерством расширялась тематика его стихов, как от безмятежного созерцания мира он все настойчивей шел к его познанию.

Огромное влияние на поэта, несомненно, оказывало глубокое и заинтересованное изучение прошлого и настоящего России, размышления над ролью своей страны в развитии человечества. Потому-то все чаще в его стихах гудит ветер истории, под силу ему становятся философские обобщения, все уверенней и взволнованней звучит его гражданский голос. И обращение к жизни и деятельности великих людей — В. И. Ленина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. М. Горького, к недалекому революционному прошлому — отнюдь не случайно.

Но он — поэт своего времени и должен, обязан выразить его. На первый взгляд, это так просто, но как — сложно! Подступы к этому видны в ряде его стихотворений, а в последний предвоенный год он пишет накопец свое программное — «Мы».

Есть в голосе моем звучание металла.  
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.  
Не все умрет. Не все войдет в каталог.  
Но только пусть под именем моим  
Потомок различит в архивном хламе  
Кусок горячей, верной нам земли,  
Где мы прошли с обугленными ртами  
И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.  
Нам не хватало неба и воды.  
Упрямой жизни в каждом человеке  
Железом обозначены следы —  
Так в нас запали прошлого приметы.  
А как любили мы — спросите жен!  
Пройдут века, и вам солгут портреты,  
Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.  
Вы в книгах читаете, как миф,  
О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.  
Когда б не бой, не вечные исканья  
Крутых путей к последней высоте,  
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,  
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.  
И жили мы, не тратя лишних слов.  
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных  
Да в серой прозе наших дневников.  
Мы брали пламя голыми руками.  
Грудь раскрывали ветру. Из ковша  
Тянули воду полными глотками  
И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед, и падали, и, еле  
В обмотках грубых ноги волоча,  
Мы видели, как женщины глядели  
На нашего шального трубача.  
А тот трубил, мир ни во что не ставя  
(Ремень сползал с покатога плеча),  
Он тоже дома женщину оставил,  
Не оглянувшись даже сгоряча.  
Был камень тверд, уступы каменисты,  
Почти со всех сторон окружены,  
Глядели вверх — и небо было чисто,  
Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,  
И слог тяжел, и выраженья грубы!  
О нас прошла всесветная молва.  
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,  
Он нами пройден, пройден до конца,  
И хорошо, что руки наши пахнут  
Угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,  
Нас не забудут потому вовек,  
Что, всей планете делая погоду,  
Мы в плоть одели слово «Человек»!

Возможно, кто-то сочтет такую параллель  
неоправданной, но мне почему-то кажется,

что Николай Майоров, остро чувствовавший историческую преемственность поколений, создавая «Мы», шел от поэтического манифеста Н. П. Огарева: «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием...».

Впрочем, как бы там ни было, совершенно бесспорно — Николай Майоров воспринял лучшие традиции Московского университета, подхватил эстафету лучших его представителей и понес ее дальше.

### Накануне

«Добрый день, Костюха!

Шлю тебе хороший, по-зимнему свежий привет.

Конечно, эти «приветы» — стандартная вещь во всех письмах. Но, Костюха, этот привет — особенный, искренний, от сердца... Получил твое письмо 12-го вечером. В комнате сидят ребята, разговаривают. Нет-нет да по коридору мимо нашей комнаты пронесется двойка-тройка разбузвившихся студентов... Иногда ворвутся к нам в комнату, а у нас — орет радио... Одному грузинцу — Хубулаве — пришла посылка из Тбилиси. Мы, конечно, «могучей кучкой» окружаем своего внезапно ставшего всеми уважаемым сожильца... Уже сквозь обшивку слышим запах чего-то восточного, «цветистой чайханы», — смотрим, различные фрукты, по комнате внезапно пронесется душистый запах, такой приятный... В дверь почему-то врывается мальчик лет под 19 и девушка... Хубулава начинает их потчевать. В конце концов уходят. Время позднее. Ребята уже все на койках. Свет выключен. Но никто не спит. Вплотьмаж каждый орет о своем. Вскоре некоторые умолкают, но по-прежнему с некоторых коек слышен хруст молодых зубов: фрукты кончаются... Вот и уснули мы. Завтра 1-й день шестидневки. Первые два часа — физкультура. Около нас проходит ленинградский поезд. Утром в 8 ч. 15 м. садимся на него и приезжаем на Комсом. площадь. Садимся на метро и катим в Сокольники. Вся наша брага. В Сокольническую лыжную базу...

16-го пойду на вокзал встречать брата Алексея из Иванова. С ним сходим на «Ленин в Октябре». Здорово, говорят, Шукин играет! А 17-го в Коммунистической аудитории МГУ концерт Игоря Ильинского. Читает: Чехова «Пересолил», Пушкина «Сказка о золотом петушке», Зошенко «История одной болезни» и др. Думаю с братом сходить. Костя, вот какое дело: я могу на такие вещи бесплатно попадать, потому что они происходят в аудиториях университета...

Теперь перехожу к другому вопросу. Костюха, я думаю, что ты ко мне тоже крепко привязался. Ведь, чудак, мы дружим с тобой так, как никто. Это так же верно, как то, что я тебя люблю, понимаешь, люблю общение с тобой, наш тонкий «дипломатический» разговор о личных лирических моментах. Я тебе говорил, чтобы ты в последний раз смотрел на парты, на класс — это неповторимо, как неповторимы наши 17 лет! Помнишь, какого характера ты писал либретто для неопубликованных и даже ненаписанных опер... А как донимали разных Задворновых и Абраш... (Александр Абрамов — одноклассник Майорова и Титова. — В. С.). Ой, хлопец, был бы какая хорошая, но уже туманом повитая:

«Опанасе, Опанасе...» и т. д.

Ты, наверно, не забыл студии радиокомитета.

А то, бывало, пойдем по улицам, так же хорошо знакомым, как знакомы свои... тетради...

Живем, Костюха, — живем. В том, Костыка, и радость, чтобы мучиться и терзаться. Одно помни:

«Но не хочу, о други, умирать,  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!..»

Не знаю, приеду ли в каникулы, но хочется увидеть тебя, по знакомым улицам под руку с тобой ядреным зимним вечером пройти...

Костыка, если приеду, то — чур! У меня — пир устроим...

Насчет лирики... Я никогда не стыдился своей любви — и впредь не постыжусь прямо заявить любому подлецу и сплетнику: — Да, я ее люблю, мучительно люблю! И ты — веришь, ты меня знаешь... Вот она, Костыка, грудь моя — свидетельница этой странной любви... Я люблю ее и любил так, как, думаю, никого не буду любить... Я высоко ценю ее — она редкий, хороший человек. Пусть — она не виновата, но я — тогда я виноват?..

Но, Костька, поверь во всю мою искренность и любовь к тебе, что моей вины нет... Я ей писал, но что же, если она мне целый месяц не писала, вдруг присылает 10 кучих строк и мотивирует свое молчание: «...так, что-то не хотелось писать...»

Нет, Костька, тут и ты бы головой об стол стал биться...

Но и после этого — я смиренен. Я молчу, терзаюсь, не упрекаю...»

На этом письмо обрывается.

Постороннему человеку оно покажется местами сумбурным, непонятным. Но не следует забывать, что это очень личное письмо другу. Подобные письма как раз и хороши тем, что писались без поправок на непосвященного читателя.

Примечательна стилистика и экспрессия письма. Здесь те же «императивы», о которых говорил Сергей Наровчатов. Они — голос страстной, мятущейся души, буйного темперамента и жизнелюбия.

Ту улицу (Московской) называли.  
Она была, пожалуй, не пряма,  
Но как-то по-особому стояли  
Ее простые, крепкие дома,  
И был там дом с узорчатым карнизом.  
Купалась в стеклах окон бирюза.  
Он был насквозь распахнут и пронизан  
Лучами солнца, бьющего в глаза.

В этот дом в Иванове часто приходили письма из Москвы. В них были откровения, рассказы о студенческой жизни, о литературной работе, были строчки стихов. А рядом — слова любви и обиды, мольба и отчаяние. Ему так хотелось, чтобы они вместе берегли любовь... Но письма ее были редки и скупы.

И все же приезда Николая на каникулы она каждый раз ждала с волнением. Иногда им казалось, что все осталось так, как было прежде. Но ненадолго.

Однажды Николай показал ей фотографию девушки, с которой он вместе учился в университете. Это была фотография Ирины Пташниковой.

*Ирина Пташникова:* «После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой половине дня, университетское студенчество, мы, историки, в частности, шли обедать в какую-нибудь из ближайших столовых, чаще всего в Огаревку. А после обеда занимались до позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов до 10, в читальном зале на мехмате — на 3-м этаже старого здания университета или в Горьковской читальне под куполом — там же, на Моховой.

Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей Майоровым: наши места в читальне оказались случайно рядом. Впрочем, «познакомились» сказано не очень точно: мы с Николаем знали друг друга и раньше, были в одном практикуме, в одной языковой группе и к тому же были соседями по общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не проявляли интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко разговорились. И возвращались из читальни домой уже вместе. Темой нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в университетской газете».

Так в жизнь его вошла другая девушка.

День ото дня новое чувство крепло. Он словно торопился любить. В воздухе планеты



пахло порохом. В памяти у Николая еще были живы рассказы брата Алексея о боях на Халхин-Голе. Не успокаивали и полные оптимизма газетные заголовки: «Западные рубежи СССР неприступны», «Советские летчики развеют в прах любого врага», «Если завтра война...». Те же газеты сообщали о захвате Гитлером Австрии, о Мюнхенском сговоре, об оккупации Чехословакии, о вторжении в Польшу, о бомбовых ударах по Англии...

Чутье историка подсказывало Николаю Майорову, что война с гитлеровской Германией неизбежна, весь вопрос в том — когда. Именно в это тревожное время он читал друзьям стихотворение, в котором, в частности, были такие строчки:

Где-то в германской Туле  
Для меня отливают пулю.

Однажды Николай ворвался в общежитие, потрясая газетой.

— Вы только послушайте... Это же черт знает что за демагогия.

Ребята, находившиеся в комнате, вопросительно уставились на него.

Николай хлопнул по газете:

— Не читали? Тридцатого января Гитлер произнес речь... Он прямо говорит: германской нации не хватает жизненного пространства. Все просто. Он завидует. Еще бы, Франция владеет территорией в девять миллионов квадратных километров, у Англии — сорок миллионов, а вот у Германии всего шестьсот тысяч... А сколько наглости, фанфаронства, неприкрытого цинизма. Он же провоцирует:

«Борьба против Польши...» Какая там борьба?..

— Пусть их, Коля, буржуи дерутся — мы крепче! — заметил кто-то.

— Пусть их? — взорвался Майоров. — Да понимаешь ли ты, садовая голова... Гитлер же к России подбирается.

— Ты поосторожней... Есть пакт о ненападении.

— Пакт? Пакт, конечно...

— Бросьте, ребята, спорить, — вмешался Хубулава. — Скажи-ка лучше, Коля, может такой вот парень понравиться хорошенькой дэвушке? — И протянул Николаю свою фотографию.

Майоров машинально принял карточку. Невидящим взглядом воззрился на нее, думая о чем-то своем, и вдруг раздраженно бросил фотографию на стол:

— Слушай... тут серьезный разговор, а ты со своими шуточками...

— Какие шутки, дорогой, это моя физиономия, портрет, личность. А ты — шутки! Может, и ту карточку, которую я подарил тебе, может, ты и ее тоже вот так, псу под хвост швырял?

— Да нет, что ты, храню, — смутился Николай.

— 'О цэ-цэ-цэ, не верю.

— Ну, честно. Помню даже надпись...

— А ну, ну...

Николай на секунду задумался, улыбнулся и процитировал:

— «На память моему лучшему другу из университета Николаю Майорову от Климентия Хубулавы. Москва». И дата.

— Помнит, черт! Головастик ты, Коля! Два года прошло — помнит.

Напряжение разговора было снято. Ребята заулыбались.

— Ну ее к бесу, политику, — загорелся Хубулава. — Почитай, пожалуйста, стихи... Из последних... Что-нибудь про любовь, а?

Николай пожал плечами, задумался. Наконец откинул назад волосы и, не отрывая взгляда от газеты на столе, начал негромко читать:

Я не знаю, у какой заставы  
вдруг умолкну в завтрашнем бою,  
не коснувшись опоздавшей славы,  
для которой песни я пою.  
Ширь России, дали Украины,  
умирая, вспомню... и опять —  
женщину, которую у тына  
так и не успел поцеловать.

В комнате зависла тишина. Было слышно, как за окном шумит огромный город. Хубулава тихонько взял лежавшую рядом с газетой фотографию и как-то недоверчиво, будто в чужое, взгляделся в свое лицо на ней. И вдруг резко сказал:

— Еще, пожалуйста, читай.

— Давай, Никола! — поддержали ребята.

Тот не заставил себя долго уговаривать.

Случайно звезды не украл дабы  
какой-нибудь праздный гуляка,  
старик никому не давал трубы,  
ее стерегла собака.

Голос у Николая заметно потеплел, и кто-то, уловив смену интонации, а еще потому, наверное, что представил гуляку, который может случайно украсть звезду, хмыкнул.

А Майоров продолжал. То вскидывая брови, то будто понарошке хмурясь, то с улыбчивой значительностью нажимая на голос:

Был важен в службе хозяйский пес,  
под ним из войлока теплый настил.  
Какое дело кобелю до звезд  
и до прочих небесных светил?  
А небом старик занимался сам —  
ночью, когда холодеет воздух,  
он подносил его ближе к глазам  
и рылся в еще не остывших звездах.

Майоров развел руками:

Мальчишки понять не могли, засыпая:  
что ищет в небе старик-ворожей?  
Должно быть, ворота небесного рая,  
а может быть, просто пропавших стрижей?  
Он знал его лучше, чем тот квартал,  
в котором живет, занимая флигель.  
Он звезды, как годы, по пальцам считал —  
о них он напишет умные книги.

Николай легонько кивнул в сторону Клима и продолжал:

А парень, на небо взглянув некстати,  
клялся, теребя у любимой ручонки,  
что завтра сошьет он из неба платье  
и подарит его глупой девчонке.

Хубулава только головой покачал. А стихи лились дальше:

А девушке — что?  
Ей приятна лесть.  
Дышит парень табачным дымом.  
Она готова не пить, не есть,  
только б на звезды глядеть с любимым.  
Старик не думал, что месяц спустя  
в сыром убежище, где-то в подвале,  
куда его силой соседи прогнали,  
услышит, как глухо бомбы свистят.  
...Рядом труба лежит без охраны:  
собаку убило осколком снаряда.

Тот парень погиб, говорят, под Седаном,  
и девушке платья теперь не надо.

Он посмотрел в окно, на московское небо,  
послушал мирные, будничные голоса города  
и грустно закончил:

А небо — в плену у стальных ястребят,  
трамваи ищут, укрыться где бы..  
О горе, старик, когда у тебя  
украли целую четверть неба!

— Ты — гений, Коля! — вскочил Хубулава. — Обыкновенный гений. Поверь, дорогой, придет день, и я с гордостью буду рассказывать сыновьям, что ты, что я..

Но его уже не слушали. Ребята загалдели, разговор вновь перекинулся к военным событиям в Западной Европе. Сережа Дружинин вспомнил, что у него в тумбочке лежит вырезка из газеты с изложением новогоднего воззвания Гитлера. Достали ее, начали читать.

— Что он мелет? — возмутился Хубулава. — Сам насильничает, захватывает чужие земли и выдает это за освобождение от насилия? Сколько народов поработил... У нас в Грузии говорят: если у человека нет своих крыльев, то и с чужими не быть ему крылатым.

— Гитлер силен, — заметил Николай. — Он знает это, потому и наглеет. Вон как он разговаривает с англичанами. Из этого австрийского выскочки буквально прет прусское хвастовство. История повторяется. Вспомните восемьсот шестой год. Тогда немцы тоже кричали, что они — соль земли, что их армия лучшая в мире и пора проучить корсиканца. Это был разгул хвастовства. Пруссия назы-

валась ни больше ни меньше как Давидом, который поразит французского Голиафа. Первого октября, если помните, в ответ на ультиматум Фридриха-Вильгельма третьего Наполеон перешел границу, а двадцать восьмого октября он вступил в Берлин, и бургомистр прусской столицы целовал кобылу корсиканца... Страшно хочется, чтобы кто-нибудь дал Гитлеру по сопатке...

На летние каникулы в Иваново Николай приехал уже четверокурсником. Можно было вновь спать в саду или на сеновале в сараюшке, слушать, как стучит по крыше дождь или плутает меж деревьев ветер, как лают на задворках собаки, а где-то далеко-далеко, словно в заоблачном мире, играет радио... Казалось, Николай и Костя дня не могут прожить друг без друга. Иногда Костя, не оставлявший мысли поступить в театральное училище, просил друга послушать, как звучит в его исполнении отрывок из Гоголя или стихотворение Багрицкого. А потом Николай, в свою очередь, читал другу свои стихи...

Но, чем дальше катилось лето, тем все чаще Николай вспоминал об Ирине. Иной раз, не успев отправить одно письмо, он уже садился за другое.

Однажды он попросил друга, собравшегося укатить на велосипеде домой (надо и родителям показаться), бросить свое очередное послание Ирине в почтовый ящик. Однако Костю в пути настиг сильный ливень, и письмо не было отправлено.

Наутро было солнечно. А под окном у Титовых уже позванивал велосипедный звонок.

Николай имел привычку не слезать с седла, пока не удостоверится, что друг дома. Пристроится у липы и позванивает.

Едва Костя вывел из калитки свой велосипед, как Коля предложил:

— Слушай, Костюха, давай двинем в парк. Там сейчас тишина, может, и искупаемся...

И друзья покатали на другой конец города, перекидываясь на ходу шутками. Настроенные у Николая было приподнятое, и Костя как бы между прочим заметил:

— Письмо, что ли, получил?

— Точно. Почему догадался?

— Да у тебя же на лице оно отпечатано... Вчера квелый был, задумчивый, а нынче, как это вот солнышко, сияешь.

— Чудесное письмо написала Иринка... Да, а мое-то ты вчера отправил?

— Побойся бога, дождище же какой был... Так в книге и лежит.

— Ты уничтожь его. Я уже другое отослал.

К счастью, письмо это не было уничтожено: Костя просто-напросто забыл о нем. Годы и годы лежало оно в книжке, ждало своего часа.

Вот оно, письмо из 1940 года.

«Милая Ярынка, здравствуй!

Пишу одно письмо вслед другому. Прости, что я так долго заставил тебя ждать моих писем, но раз я уже начал — значит, жди длительной и планомерной бомбардировки Вашего почтового ящика.

Ну, живу плохо. Особенного буйства не проявляю. И не только потому, что абсолютно отсутствует «целебный» напиток, а просто, видно, годы отошли. Становлюсь мудрым и молчаливым, как Будда. Часто бывает страшно ск-у-чно. Но, как ответил у Пушкина Мефистофель скучающему Фаусту:

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел.  
Его ж никто не преступает.  
Вся *тварь разумная* скучает:  
Иной от лени, тот от дел;  
Кто верит, кто утратил веру;  
Тот насладиться не успел,  
Тот насладился через меру,  
И всяк зевает да живет —  
И всех вас гроб, зевая, ждет.  
Зевай и ты.

Вот как — видишь! Мефистофель человеческий род на вечную скуку обрекает. И всех нас он именует вежливо словами — «разумная тварь».

Очень соскучился по тебе — скоро ли опять увидимся, моя коханая? Хочется увидеть тебя, обнять и крепко — так, чтобы губы было больно, — поцеловать. Чувствую, что одно спасение — в работе. Когда занимаешься чем-либо, то меньше думаешь. Ярынка, ты хоть почаще, милая, пиши: ведь, когда прочитаю твое письмо, такое чувство, будто я только что возвратился от тебя. Вот жду все твоего письма, как ты приехала и что думала, не застав дома писем от меня, — но нет, ты все почему-то медлишь с письмом. «Когда ж конец трагедии?!»

Вчера был в саду (летний сад отдыха молодежи. — В. С.), видел некоторых знакомых своих. Когда-то с ними в таком ладу жили, а вот сейчас чувствуется какая-то разобщенность, отчужденность. Некоторые из друзей уже пожелали «жизнь ограничить семейным кругом» (Пушкин!).

Вчера же в саду наблюдал следующий интересный эпизод. Со мной сидел хороший приятель, он учился со мной в одной школе, писал стихи (и сейчас пишет), печатался в областных изданиях. Он года на 2—1,5 моложе, пожалуй, меня. Только что прошедшей осенью был взят в армию. Попал в Финляндию. Там он пробыл все время, пока длилась война. За несколько дней до заключения мира он получил две пули, обе — в локоть правой руки. Сейчас, после лечения, прибыл из Крыма в 2-месячный отпуск. Парень похудел, короткие волосы, глубокие и как-то по-особенному светлые глаза. Видать, что человек давно не имел лирики, — он грустно смотрел на проходящих по аллее девушек. Одну из них он окликнул. Это — его первая любовь. Галя. Она подошла к нам, увидев Володьку (Владимир Жуков. — В. С.), —



изобразила на лице удивление. Но тут же, словно спохватившись:

— Почему ко мне не заходишь?

— Я сегодня только с поезда.

— Да, но ты зайдешь! (Это — с повелением.)

— Может быть.

— А я говорю — ты ко мне зайдешь, — это она произнесла, как женщина, привыкшая встречать одобрение своих капризов. Мне стало страшно жаль Володьку. Парень измучен, только что зажила рана, он, как выразился, «всю Финляндию на животе прополз», а тут — повелительные восклицания пустынной девушки, умеющей делать только глазки. Да надо бы человеку на шею броситься, взять его, зацеловать — он так давно всего этого не видел! А она вместо этого спокойно пошла дальше по аллее, бросив на ходу:

— Ты зайдешь, слышишь!

И меньше думая о происшедшей (такой неожиданной!) встрече, больше любясь тем, как она сейчас выглядит. Есть же такие сволочи. Володьке сделалось неловко передо мной. Он долго после этого молчал. Так его встречает тыл! А ведь хороший и славный парень он! Все это меня очень тронуло.

Недавно получил письмо от Сергея Дружинина. Пишет, что он приобрел путевку на Кавказ (с 26 июля по 13 авг.)...

Сергей после Кавказа, наверно, приедет ко мне, в Иваново. Обрато в Москву мы поедем уже вместе. Я зову Сергея в Иваново, чтоб познакомился с «сим» городом и его достопримечательностями, среди которых первое место, несомненно, занимаю я — «сплошная невидаль»...

Спим с Костей у него в саду, под яблонями. Прежде чем лечь, идем есть смородину и малину. Возвращаемся сырые — роса. На свежем воздухе спать замечательно; смотришь в ночное небо, протянешь руку — целая горсть холодной, влажной листвы; кругом — ползет, шевелится, и кажется, что дышит «свирепая зелень», бьющая из всех расселин и пор сухой земли. И впрямь — слышно, как «мир произрастает»! Изредка на одеяло поползет какой-нибудь жучишко. Просыпаемся от солнца, которое, проникая сквозь ветви, будит нас и заставляет жмуриться... Вот она — жизнь. Как сказал Велимир Хлебников:

Мне мало надо:  
ковригу хлеба,  
да каплю молока,  
да это небо,  
да эти облака.

Иногда страшно хочется написать хорошие стихи, но пока почему-то не пишу.

На днях приезжает в Иваново Колька Шеберстов. Заставлю его писать маслом с меня портрет. Благо, хоть время незаметно уьем.

Милая Ярынка, почему нет от тебя писем. Я могу «серьезно» рассердиться. Тогда на тебя обрушится гнев Ахиллеса! Пиши, как живешь, скучно ли, как дела обстоят дома, что вообще интересного в Ташкенте.

Я пока кончаю до след. письма...

Глаза целую, губы, волосы твои хорошие. Ну, просто, Ярынка, чудесные волосы!

Твой «Колябушка» (так она меня называла — да простит ей бог!).

25 июля 1940 г.

За подпись прикладываю свой правый перст».

### III

Его жизненная позиция была всегда вполне определена. Так и в стихах. Всегда знаешь, с кем он, против кого. Он обнажал свои чувства, обнажал беспощадно, и эта его какая-то детская, безоглядная откровенность подкупает, обезоруживает.

Многих поражает в его стихах провидение собственной судьбы. Но, может быть, это только юношеская поза, желание сказать по-сильнее, покрепче? Нет, позерство всегда было чуждо ему. Тогда что же, — в самом деле, дар предвидения? Ведь еще древние греки верили, что поэт — существо, «вдохновенное музами», объявляли его «прорицателем», «пророком»...

Поэт, как всякий художник, бесспорно, обладает повышенной чуткостью к окружающему, чувства его обострены, потому-то он так трепетно воспринимает самые различные явления нашей жизни, стремится исследовать человека и природу, идеи и исторические факты, самого себя и законы общественного развития. Художник, может быть, чуть острее, чем другие, чувствует опасность...

И вновь я как бы слышу его голос:

«Во мне, действительно, жило предчувствие надвигающейся беды. Но это чувство было подсказано не ясновидением... Мистиком я никогда не был. Просто, для этого надо было реально оценивать события, происходящие в мире. А в мире было тревожно, совсем рядом грохотала война... Потом — финская... Раны друзей, горечь утрат... Помню, какой болью отозвалась в наших сердцах гибель Коли Отрады. Он тоже не впервые ли напечатал свои стихи в том сборнике «Парад молодости»... Я часто представлял себе его лежащим на белом, чистом снегу. И спрашивал себя: почему кто-то должен надевать шинель, зарываться в землю, стрелять и подниматься в атаку, а кто-то в это время — назначать свидания девушкам, сидеть в читальне, есть мороженое и бегать в кино?..»

— Это очень трудно, — говорить своему «я» правду о себе.

«Да, трудно. Потому что, если у тебя есть совесть, если еще не зачерствело сердце, надолго остается гадкое чувство своей неполноценности, со всей очевидностью ощущаешь мерзость своего благополучного, теплого бытия...»

— Ты никогда не был трусом...

«Но и героем тоже».

— А кто может сказать о себе: я — герой?

«Нет, героем я не был. Это точно».

— Но у тебя, как мне кажется, было обострено чувство долга, чувство неразрывной связи со своим народом. Эти чувства ты принес в свои стихи. В каждой строчке мне слышится твоя готовность не только словом, но, если потребуется, и жизнью доказать свою любовь и преданность Родине.

«Я был готов к этому!»

— Не в этом ли секрет провидения? В готовности...

«Может быть».

#### Пепел войны

Николай часто писал младшему брату Шурке: приезжай, покажу тебе Москву. А тому было все недосуг. Но наконец собрался. Взял билет на 22 июня. Ехать ему предстояло через Шую, Новки, Владимир. Мать собрала сыну фанерный чемоданчик, сработанный еще отцом. Для Коли в подарок положила два десятка яиц, завернув каждое в бумажку. Ну а для младшего, чтобы в дороге было чего пожевать, положила «докторский» батон...

Перрон в Новках оказался переполнен людьми. Такого Шурка еще никогда не видел. Толпа бурлила, гудела. А над этим разноголосым шумом всплескивались то истощенный женский голос, то плач ребенка, то зычные слова воинских команд... Мелькали узлы, корзины, чемоданы...

Когда медленно плывущий мимо перрона поезд остановился, по вагонам полетела леденящая душу весть: «Война!»

Поезд из Иванова задержали и отвели на запасной путь. Целый день через станцию шли и шли составы...

Был уже на исходе второй день войны, когда злополучным пассажирам объявили, что отправить их нет никакой возможности, что самое разумное в их положении — идти до Владимира, а оттуда уже добираться на попутных.

«Может, вернуться домой? — думал Шурка. — Всё ближе...» Но обидно было: в кармане билет, и вот на тебе, топай восвояси... Да и Москву когда еще придется повидать? К тому же вон сколько людей пойдет, а до Иванова надо одному добираться.

Идти пришлось до самой Москвы. Шли долго. Ночевали в лесу, в деревнях, в стогах, на вокзалах. Батона и яиц давно уже и в помине не было. Один раз Шурка разжился в каком-то магазинчике твердыми, как кость, пряниками, а то чуть ли не Христа ради пришлось просить в деревнях кусок хлеба. В Орехово-Зуеве, в вокзальной зале ожидания, Шурка устроился под стульями, нагруженными в углу чуть ли не до потолка. Но уснуть не мог: всю ночь выкрикивались фамилии, раздавались команды: «Становись!.. Рассчитайсь!.. Равняйся! Шагом марш...» Уходили одни, приходили другие.

В общежитии на Стромынке его давно ждали. Николай успел обменяться с родителями телеграммами и теперь волновался: куда пропал братишка?

Едва Шурка сказал дежурной, что приехал к Майорову, как та обрадованно всплеснула руками:

— Ну и слава богу! Нашелся!

Остановила пробежавшего мимо студента, попросила проводить гостя в 520-ю комнату.

— Ну-ка, ну-ка, какой ты? — завертел мальчишку студент. — Ты смотри, чернявый, как цыган... Да ты ни капли и не похож на брата.

Жизнь в общежитии была тревожная. Шла сессия, студенты сдавали экзамены. Но разговоров было больше о войне, о фронте, о сводках Совинформбюро, о том, кто уже записался в армию, а кто собирается это сделать. Николаю было не до братишки. Утром он провожал его до метро и говорил: «Валяй, катайся. Не вылезай из метро до двух часов. Потом выйдешь на станции «Охотный ряд», спросишь университет». И тот катался. До одурения. Потом дожидался брата возле университета и уже вместе с ним ехал в общежитие пить чай.

Иногда Николай спохватывался и рассказывал, где и что Шурка может посмотреть в Москве. Рисовал маршруты, записывал, как и куда можно доехать.

Потом прошел слух, что студентов будут посылать копать противотанковые рвы. Пора было гостю возвращаться домой. Поехали на вокзал, а вокзалов-то — что Ярославского, что Ленинградского — и не видать. Тьма-тьмущая людей. Комсомольская площадь запружена. Стали толкаться, узнавать, что и как. Шурка тарашил глаза, держал карманы, а ухо ловило обрывки реплик. Чего только не услышишь в таком людском море! В одном месте он поотстал от Николая, услышал: «Надо дать в ла-

пу — и билет в кармане. Вот один тут...» До-  
гнал брата. Тот, думая о чем-то своем, бурк-  
нул:

— Не потеряйся.

— Коль, а Коль, — придержал его Шур-  
ка. — А что, если дать телеграмму домой, что-  
бы подослали рублей двести пятьдесят?

— Это зачем? Что там тятя штампует, что  
ли, рубли-то?

— Зачем? Сунули бы в лапу, глядишь, и  
билет был бы...

Николай остановился, удивленно вскинул  
брови, но вдруг рассмеялся:

— Ну и ну, Шурка! Фрукт ты, однако же!

— А что! — обиделся тот.

— Вот посмотри, — кивнул Николай в сто-  
рону. — Видишь дядьку? Ну того, что лежит  
на кожаных чемоданах, в шляпе?

— Ну?

— Вот тебе и ну! У него один чемодан с ба-  
рахлом, а другой — полный денег... А уехать  
не может.

Шурка понимал, что брат шутит...

Нетрудно представить, что чувствовал ше-  
стнадцатилетний парнишка, когда на следую-  
щий день Николай, упаковывая вещи в чемо-  
даны и плетеную корзину, сказал ему:

— Через два дня уезжаю... Говорят, под  
Ельню нас, строить оборонительные соору-  
жения...

— А я?

— Поживешь пока здесь. А если достанешь  
билет, вот этот чемодан увезешь домой.

Шурка приподнял чемодан.

— Ой-е-ей, тяжеленный-то!

— Книги.

— А это куда? — кивнул Шурка на другой чемодан и корзину.

— Отнесем к верным людям.

В корзине лежали конспекты, записные книжки, тетрадки со стихами. В чемодане были вещи Николая.

...Пересекли Красную площадь, потом свернули и еще раз свернули. Шурке непонятно было, почему это какие-то книги надо волочь в Иваново, а вот костюм, рубашки и прочее Николай хочет оставить у кого-то здесь, в Москве. «Может, он и часы здесь оставит?»

— Слышь, Кольк, давай я часы-то домой возьму...

Николай обнял братишку свободной рукой.

— Глупый ты еще какой. Что — часы, видишь, что вокруг творится. Часы — ерунда, жизнь — вот что самое дорогое у человека.

Наконец очутились в тихом переулочке, остановились перед каким-то домом. Держась за железные перила, поднялись на второй этаж. Николай прошел в квартиру, а Шурка остался на лестнице. Кому брат отдал чемодан и корзину, он не видел.

Теперь, «рассчитавшись с бытом», можно было ехать на все четыре стороны.

*Ирина Пташникова:* «Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты.

Помню Николая в этот момент — высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении «Мы»? Мо-



жет быть, именно в тот момент он особенно ясно понял это, почувствовал, что «Мы» — это стихи о нем самом, о его товарищах, что «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», в бой за мир и счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и дойти до потомков в бессмертных творениях, а не только в «пересказах устных да в серой прозе наших дневников...».

Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь тяжелое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча...»

Из Москвы Шурка уехал через несколько дней после отъезда брата. Комсомольская площадь, объединяющая три вокзала столицы, уже была пуста, но с билетами все равно было туго. Тут уж ему помогла собственная расторопность. До отхода поезда оставалось совсем мало времени, а надо было еще съездить в общежитие за вещами. Особенно он намучился с чемоданом, который велел увезти в Иваново брат. Пока дотащил его до остановки, а потом от метро до поезда, все колени в кровь избил. Только ведь не бросишь — Николай просил...

В ту ночь, когда поезд увозил его домой, в ночь на 22 июля, немцы впервые бомбили Москву. За стуком колес не было слышно отдаленных взрывов, но было хорошо видно, как там, позади, небо ощупывают десятки лучей прожекторов. Лишь позже стало известно, что из двухсот вражеских самолетов к столице прорвалось чуть больше десятка.

Ивана дома он уже не застал. Старший брат, как и Алексей, воевал.

*Александр Майоров:* «Все эти годы не выходили у меня из головы чемодан и корзина, оставленные в доме с железными перилами. Конечно, меня уже интересовали не тряпки, как тогда, в сорок первом, а рукописи и записные книжки. После войны, в сорок восьмом году, Николай Шеберстов дал мне адрес одного старого художника, который, по его словам, знал, где живет Н. Друзья полагали, что именно у Н. оставили мы тогда корзину и чемодан. Адрес Н. я получил, пошел разыскивать. Но его дома не оказалось, он работал где-то в другом городе, а родные Н. мне сказали, что у них никто ничего не оставлял... И что я постеснялся тогда зайти в квартиру!»

Николай вернулся в Москву лишь в сентябре. Ирины там уже не было. Она подала было заявление с просьбой послать ее на фронт, но медкомиссия не пропустила ее из-за близорукости. Она уехала в Ташкент. Теперь их могли связать только письма.

«Ирина, здравствуй!

Недавно мне Н. Шеберстов передал твою открытку — спасибо, что ты еще помнишь обо мне. Когда я находился на спецзадании, я почему-то не отчаивался получить от тебя письмо. Но, представь себе, всем писали, я же почти все 2 месяца не имел ни от кого ни одного письма. И ты не догадалась. Адрес же наш всему истфаку был известен. Ну да ладно — не сетую. Чем это я заслужил от тебя письмо? Конечно, ничем.

А все-таки ждал.

В Москву прибыли 9 сентября. Я страшно загорел, окреп. Работать было очень трудно, но об этом когда-нибудь после подробнее расскажу, если удастся свидеться.

...В 418 школе на одной двери нашел случайно твою фамилию: ты там жила. Как был бы я рад, если бы там жила ты и сейчас!

Но я бью себя за излишнее проявление лирического восторга. В райвоенкомате прошел медкомиссию. Ждем, когда возьмут в армию. А когда, неизвестно: может, сегодня вечером, а может, — через месяц. Я получил назначение на работу в Можайск, но это — простая формальность. Я не безногий, чтоб ехать на работу. Из Москвы выезд райвоенкоматом запрещен.

Если после войны буду жив, буду проситься работать в Среднюю Азию, — мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли?

Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить дипломы. А я — прогулял. Возможно, сдам числа 15-го, а не сдам — пусть...

Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что могу сделать — сделаю.

Ну, желаю тебе здоровья и счастья!

Живи хорошо. Целую. Ник.

Р. С. Все же смею надеяться на твое письмо. Привет от К. Титова, Н. Шеберстова и В. Малькова, которые всегда хотели видеть, чтоб я был вместе с тобой, а посему особенно зло лают на меня сейчас.

Я не утерплю и вслед этому письму пошлю второе».

*Владимир Жуков:* «Почерневший и посуровевший, с обострившимися скулами, появился Коля Майоров в Иванове... На этот раз недолго ему довелось пробыть дома. Из Москвы телеграммой извещали, что на его имя пришла повестка из военкомата (это в ответ на его заявление). Сообщение он встретил как должное.

...Вещь за вещь извлекались из сундука армейские сапоги, гимнастерка, темно-синие галифе. Меня это крайне удивило. И я, помню, сказал ему об этом.

— Ничего удивительного. Время такое! Сейчас и портянки найдем, и портупею, — говорил он, а за переборкой плакала мать.

— Да ты не думай, что вперед глядел. Это все Алексея, ты же знаешь.

Старший брат Николая, Алексей, летчик-истребитель, был уже в деле.

Наконец все было найдено и надето. Я помог ему застегнуть портупею. С гражданской жизнью было покончено...»

Да, Николай прощался с мирной жизнью, прощался с родителями, друзьями, прощался со школой, с родной улицей... На душе было тревожно. В сводках Совинформбюро было много горестного. Особенно его беспокоили сообщения об обороне Киева, где дрался брат Иван. Николай вновь и вновь перечитывал письмо брата, полученное родителями в начале сентября. Иван писал:

«Сегодня ночью шел сильный бой, особенно грохотала артиллерия — наша и немецкая, однако снаряды разрывались от нас далеко, и мы — кто мог — спали спокойно. Я ночью проверял посты — часовых, ночь была ужасно темная, и шел дождь, только от стрельбы орудий и от разрывов снарядов небо непрерывно озарялось заревом.

Я от дождя промок и немножко озяб. Вообще ночи стали холодные, и спать на земле холодно. Ну, ничего — нужно со всем мириться, ко многому мы уже привыкли, и спать, если приходится, везде можем. За всю войну только один раз спал разувшись — в какой-то школе, на полу была постлана солома, мы спали богатырским сном — просто шикарно.

Мы находимся на обороне города К, который должны защищать до последней капли крови — таков приказ. И мы уверены, что никогда немецким свиньям не видать этого города.

Хотя фашисты заняли несколько наших городов — это тяжело для нас, и, когда читаешь газету, становится весьма жалко, однако мы уверены, что победа будет за нами и никогда немецким свиньям не придется гулять по нашей земле, мы — русский народ, а тем более советский, и нас победить невозможно... Вы пишете, что Алексей находится в Монголии, а я думал, что он переведен сюда. Но и японским самураям доверяться нельзя, возможно, там откроется фронт.

Для Алексея здесь работы много — немецкие самолеты летают часто, но наши истребители их сильно гоняют и много сбивают. Немецкие истребители нападают только на наши бомбардировщики, и то когда их много, а наших истребителей боятся, потому что наши истребители всегда навязывают им бой, хоть наших мало, а немецких много — все равно наши первые лезут и дерутся превосходно.

Николаю я писать не буду — возможно, его уже там нет...»

В тот же конверт было вложено еще одно письмо — лично Шурке.

«Здравствуй, Александр Петрович!

Привет тебе и самые наилучшие пожелания. Письмо твое получил, за которое благодарю тебя. Вашим письмам я весьма обрадовался — так давно не получал... Меня интересует, что ты делаешь в данное время? Неужели все болтаешься и ничего не делаешь? Тебе уже почти семнадцать лет, в таком возрасте люди уже защищают свою Родину, проливают кровь, а ты болтаешься и не работаешь. Обязательно поступай на работу или в школу ФЗО. В такой тяжелый период для нашей страны каждый человек должен быть чем-то полезен своей Родине: защищать ли страну с оружием в руках, честно трудиться на ф-ке или заводе. Ты видишь, старик отец работает более 10 часов в сутки, а ты болтаешься. Как тебе только не совестно! Так вот, учти эти мои замечания и немедленно приступай к делу, иначе я тебе и письма писать не буду, и не буду называть тебя братом. Мне совестно, что у меня брат в 16 лет ничего не делает. Сейчас трудятся все — старые и малые, чтобы отстоять свою Родину от немецких фашистов.

Учти это.

На этом я кончаю писать. Жду ответа...»

Николай читал и перечитывал эти письма, и к горлу подступал комок: ему казалось, что не только Шурке, а и ему адресованы резкие слова брата. К тому же стали доходить слухи о том, что под Киевом в окружение попало много советских солдат. Как потом оказалось, немцы перебросили в район столицы Украины

дополнительные силы и 16 сентября перекрыли горловину «мешка», по которой еще несколько дней назад можно было вывести войска из окружения. Четыре советские армии оказались в ловушке. Некоторые воинские части с боями вышли из окружения, но десяткам тысяч воинов сделать это не удалось...

Однако вернемся в дом Майоровых. Обстановка здесь была невеселая. Петр Максимович и Федора Федоровна ходили как в воду опущенные: два сына на войне, а теперь вот настала пора и третьему. Николай, как мог, успокаивал родителей, но тщетно. Наконец пришел день, когда он вскочил на велосипед и поехал прощаться с друзьями...

Наступил октябрь. Позади было всего три месяца войны, а немцы уже находились в районе Вязьмы. Шли и шли эшелоны. И неизвестно, в какую сторону их в эти недели шло больше — с востока на запад, с вооружением и войсками, или с запада на восток — с беженцами и эвакуируемыми предприятиями.

10-го октября началась эвакуация предприятий и государственных учреждений из Москвы.

Как-то в общежитие к Николаю наведальсь Костя Титов и Коля Шеберстов. Друзья знали, что скоро им придется распрощаться. Болтали, по привычке шутили, но шутки были не очень веселые.

— А знаете, ребята, — сказал вдруг Хубулава. — Давайте устроим на прощанье пир...

— Пир во время чумы?..

— Зачем же так?.. Не нравится пир, назовем прощальным ужином... Все беру на себя. Хотите, в «Арагви» пойдем? Угощаю...

Хубулава не шутил. Широкая его душа, как и карман, всегда была распахнута для друзей. И он повел компанию в ресторан.

Это было почти невероятно: где-то рядом шла война, а тут, в уютном зале, на столе стояли казавшиеся фантастическими, нереальными закуски, бутылки с вином. Рай! Короткий, всего на несколько часов, но рай.

— Прошу всех встать, — сказал Клим, когда бокалы были наполнены вином.

Все поднялись.

— Я хочу этот тост поднять за нашего дорогого и мудрого вождя. — Он помолчал. — Тяжело сейчас нашей стране, фашисты лезут к Москве. Только запомните мои слова: не видать им ее, как своих ушей. Победа не за горами! За победу!

— За победу! — подхватили друзья.

Выпили по второму бокалу... Исчезли закуски. Но хорошо было сидеть в тепле, чувствовать уют ресторана, вести неторопливую беседу, строить планы, мечтать. Влюбленный в Николая и его стихи Клим попросил его почитать что-нибудь. В это время в зал вошла группа военных, но форма у них была какая-то необычная. Это были иностранцы.

— Английские летчики, — шепнул официант. — Офицеры...

Англичане устроились за соседним столиком. Заметив, что привлекли внимание соседей, заулыбались, покивали студентам.

И тогда Николай начал читать:

Рассвет сочился будто в сите,  
когда в звенящем серебре  
рванулся резко истребитель  
косым движением к земле.  
Пилот, в бесстрашие шансы взвесив,

хватался в спешке за рули,  
но все дороги с поднебесья  
к суровой гибели вели.

Может быть, в тот момент он вспомнил об Алексее или, может, представив в небе над Киевом летчиков-истребителей, о которых писал Иван:

И с жадной верной не разбиться,  
спасая в виражах мотор,  
хотел он взмыть, но силу птицы  
презрели небо и простор.  
Она все тело распластала,  
скользя в пространстве на крыле,  
и вспышкой взрыва и металла  
жизнь догорала на земле.  
...А сила ветра также крепла.  
Восходом солнца цвел восток,  
и на земле сквозь дымку пепла  
пробился утренний цветок.  
Уже истлели тело, крылья,  
но жизнь, войдя с людьми в родство,  
презрев пред гибелью бессилье,  
свое справляла торжество.

Краем глаза Николай видел, как англичане, полуобернувшись, прислушиваются к его несколько монотонному чтению.

Как прежде, люди в небо рвались  
в упорной жажде высоты.  
А в небе гасли, рассыпались  
звезд изумрудные цветы.  
И пахли юностью побеги  
ветвей. Прорезав тишину,  
другой пилот в крутом разбеге  
взмыл в голубую вышину.  
Мир был по-прежнему огромен,  
прекрасен, радужен, цветист;  
и с человеческим сердцем вровень  
на ветке бился первый лист.  
И, не смущаясь пепла, тлена,  
крушенья дерзостной мечты,  
вновь ликовала кровь по венам  
в упорной жажде высоты!



Николай умолк. И вдруг от соседнего столика раздались аплодисменты. Николай улыбнулся, кивком поблагодарил.

— Наш лучший поэт, — сказал Хубулава и поднял большой палец: — Во!

— Ол райт!.. Отшень, отшень... Мы лю-пим ваш Лермонтоф... Как ето... И ткутно и грутно...

Ребята были сражены: англичане — и вдруг по-русски, да еще знают Лермонтова... Разлили остатки вина — себе и англичанам — и выпили за дружбу, за быстрейшую победу над общим врагом...

*От Советского Информбюро:* «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону.

Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, наносят ему тяжелые потери, но вынуждены были на этом участке отступить. За 13 октября уничтожено 36 немецких самолетов. Наши потери — 11 самолетов. По неполным данным, за 15 октября под Москвой сбито 9 самолетов противника».

*Борис Слуцкий:* «Был октябрь 1941 года, один из самых тяжелых для Москвы дней октября — 16 или 17 число.

Немцы наступали где-то у Можайска. Их еще не удавалось остановить. Кое-где над центром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-за-

пад, на северо-запад — на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.

Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.

Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах.

— А я вот иду в военкомат, записываться в армию.

Постояли мы на улице, на самой важной для нас обеих улице Герцена — больше трех лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И — разошлись...»

*Строка из газеты:* «На днях свыше 40 студентов Московского университета ушли добровольцами на фронт — защищать подступы к Москве...»

18 октября Николай Майоров был зачислен в действующую армию.

#### «...Но я иду»

Моя земля — одна моя планета,  
Она живет среди ночей и звезд,  
Мне говорят, что путь бойца-поэта  
В ее ночах не очень будет прост.  
Но я иду.

В этих пяти строчках есть, кажется, все, что характерно для творчества Николая Майорова: большой лиризм, эпичность, широта мысли, экономность выразительных средств, высокая гражданственность, готовность прой-

ти тяжелый и мужественный путь солдата — защитника Родины.

Но самое удивительное, что эти строки были написаны не в 1941 году, когда Николай надел шинель добровольца Красной Армии, а в далеком и мирном 1938-м.

Путь бойца-поэта! Об этом своем последнем пути Николаю довелось рассказать самому.

*Письмо от 22 октября 1941 года:*

«Здравствуй, Ирина!

Опять хочется тебе писать. Причем делаю это без надежды получить от тебя ответ: у меня нет адреса.

Сейчас я в армии. Мы идем из Москвы пешком по направлению к Горькому, а там — неизвестно куда. Нас, как население, годное к службе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непосредственная опасность. Положение исключительно серьезное. Я был раньше зачислен в Ярославскую летную школу. Но когда вокруг Москвы создалось напряженное положение, меня мобилизовали в числе прочих. Сейчас направляемся к формирующему пункту, расположенному где-то около Горького. 15—16—17 октября проходила эвакуация Москвы. Университет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пешком — эшелонов не хватило...

Мы вместе с Арчилом Джапаридзе (только вдвоем) не снялись с учета и вот сейчас уже находимся в армии.

Вообще подробно тебе об этих днях — по-своему интересных — расскажу после.

Идя в армию, я лишил себя возможности увидеть тебя. А хотелось видеть тебя!

Сейчас нас, людей самых разных возрастов и профессий, ведут по шоссе Энтузиастов по направлению к Мурому. Идем пешком. Устали ноги. Прошли Ногинск и Покров. В какую часть я попаду — не знаю. Адреса у меня пока нет.

Хотелось бы видеть, какая сейчас ты.

Целую крепко (очень).

Ник.»

*Письмо от 8 ноября 1941 года:*

«Здравствуй, Ирина!

Опять пишу.

Мы уже за Арзамасом. Скоро перейдем Волгу. В общей сложности мы должны пройти пешком около 1000 км, из них почти половина осталась за спиной. Через месяц, возможно, наконец, прибудем на формировочный пункт, а там неизвестно, куда нас определят. От фронта мы почти так же сейчас далеки, как я далек сегодня от тебя.

Очень беспокоюсь за братьев, а равно и за родителей. Едва ли сейчас в Иванове спокойно.

В Муроме встретили некоторых ребят из университета. Они эвакуируются (бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я было писал тебе)... Увидев нас в шинелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старик Бульба сыновей своих некогда...

А самое страшное — едва ли удастся увидеть тебя, слишком взаимно противоположные направления приняты дороги наши. Мне 22 года, впереди армия, фронт и вообще черт знает что. Еще страшнее то, что ты думаешь обо мне, пожалуй, не совсем хорошо. И права. Вот и стучу себя в грудь кулаком, а иногда такое настроение — забыла; ладно, все перемелется...

А верстовые столбы — без конца. Идешь-идешь, думаешь-думаешь, и опять ты где-нибудь выплывешь, и все — сызнава. Курю. Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу.

Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее вынослив. Плохо (очень) с питанием. Есть с чего быть злым. Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в головах — тоже шинель. Не подумай, что их три — шинели. Все это случается с одной шинелью.

А рядом идут куда-то поезда. Может — и в Ташкент. И вдруг рассердишься — да что это я, в самом деле? Все перемелется, все. Будем веселыми.

И ты хорошо живи, веселей, бери все, что можно, а вообще мне тебя не учить. Это я просто от злости бешусь. Злых я люблю, сам — злой.

Целую.

Еще раз, еще.

Ваш покорный слуга Ник.

И зачем я пишу все это? А?»

## Письмо от 8 ноября 1941 года:

«Добрый день, мои дорогие родители, а также братья Шура и Витя...

Сейчас я нахожусь за Арзамасом. Сегодня — 8 ноября — у нас первая дневка, а то все шли и шли. Сегодня побрились, попали к доброй хозяйке, она нас мясным супом накормила. Вообще мне немного легче приходится — нас в колонне с высшим образованием человек пять. Командир нашего взвода окончил наш университет, а ротный — инженер. Мы квартируем все время втроем... Вообще мы дружим — каждой коркой и каждым рублем делимся. Я на время назначен помощником комвзвода (до места следования). Идем вот уже 20 дней, еще пройдем больше полмесяца. Километров 40 до Арзамаса ехали на поезде, а то все пешком. В общей сложности до места следования мы пройдем около 1000 км — и все пешком. Сейчас здесь уже выпал снег, ветры дуют резкие, многие ребята кашляют, я пока еще не успел простудиться.

С дороги послал одно письмо Алексею, а вот сегодня думаю еще одно послать. Напишу и Ивану письмо... Немцы под Москвой задержаны, и их наступление пока отбито.

В первом же письме напишите мне, как живете, как тятя с Александром работают. Не призвали ли Шурку в армию? Он с 1924 г., а в нашей роте 6 чел. с 1924.

...Ну, обо мне беспокойтесь меньше всего, поход я выдержу, а там увидим, что будет. Белье у меня теплое, мерзнуть меньше других буду. Сейчас всем трудно. Праздник мы плохо проводим, а и до праздника ли сейчас?!

Ну, пока все. Завтра утром идем дальше. Мы перешли Оку, скоро за Волгу доберемся.

Желаю Вам здоровья, меньше волнения, спокойней живите.

Ваш сын Ник.

Шура и Витя!

Прошу Вас — живите дружнее, так дружно, как живут ваши три старших брата, находящиеся в РККА. Помогайте маме и тятю, все делайте для того, чтобы они меньше беспокоились. Давайте побольше старания, сами понимаете — война.

Ваш брат Ник.»

## Письмо от 18 декабря 1941 года:

«Ирина, здравствуй!

За последнее время никому так много не писал писем, как тебе. Не знаю, радоваться или плакать тебе по этому случаю. Домой я не писал 1,5 месяца — не знаю, что уж обо мне там теперь думают. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось *все* обо *всех* знать!

Сегодня — 18 декабря — ровно 2 м-ца, как я в армии. По этому случаю и пишу домой, тебе, братьям.

Я чуть было не был демобилизован (по приказу НКО о дипломниках), но почему-то задержали...

А теперь перспектива такова. До Нового года нас обещают маршевой ротой отправить на фронт. Но яснее никто ничего не знает.

Скучная жизнь, да ничего не поделаешь — война. Многого бы хотелось, да не все есть. Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать.

Хочется увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя. Пока же кое-как удалось прочесть «Юморески» Гашека и «Два капитана» Каверина. Если не читала последнюю книгу, прочти — хорошая. А в общем — скучно и грустно. Радуюсь нашим успехам на фронтах. Боюсь за братьев.

Напиши мне письмо, возможно, оно застанет еще меня здесь.

Целую Ник.

Привет от Арчила».

## Письмо от 28 декабря 1941 года:

«Здравствуй, Ирина!

Жду эшелона для отправки на фронт. Нахожусь в маршевой роте. Говорят, нас направляют в гвардейские части, на Московский фронт. Хорошо бы ехать через Иваново — возможно, забегу.

Обмундированы хорошо: полушубки, ватники, в дороге валенки дадут. Дали махорки — самое главное. Воевать придется в самые зимние месяцы. Ну да ладно — перетерпим. Арчила не взяли в гвардию — слепой. Тяжело было расставаться с ним.

Поздравляю тебя с Новым годом, 1942! Что-то ждет меня в этом году? Ты знаешь, как я скверно встретил 1941 г. — был вызван сумасбродной телеграммой в Иваново. Сейчас Новый год я тоже встречу в вагоне. Песни

петь буду. Тебя вспоминать. Жаль, что только вспоминать.

Ну, пока все, кажется.  
Целую тебя много-много раз. Николай».

### *Письмо от 28 декабря 1941 года:*

«Здравствуйте, дорогие родители, а также братья Шура и Витя. Шлю вам горячий привет. Сейчас нахожусь в маршевой роте, направляющейся на фронт. Нас направляют в гвардейские части. До этого времени работал помощником политрука.

...Страшно хотелось бы узнать, как вы живете, что слышно о братьях? Есть предположение — очень вероятное, — что мы едем на Московский фронт. Если поедем через Иваново, постараюсь вырваться, забежать, если поезд будет стоять. Сейчас, мне кажется, иначе в Москву и нельзя попасть, как через Иваново. Хорошо бы так получилось. Ну, пока все. Это письмо к Вам поздно, наверно, придет, я уже буду к тому времени на фронте. При каждой возможности буду писать вам письма. Хотел телеграмму вчера из Йошкар-Олы послать, да очередь большая была — ждать некогда.

Ну, пока все. Обо мне меньше всего беспокойтесь. Желаю вам здоровья. Ваш сын Ник.».

«Что-то ждет меня в этом году?» Такие вопросы задавал себе в канун 1942 года каждый советский человек. Этот вопрос стоял перед всем нашим народом.

1941 уходил в Историю, золотом вписав в ее страницы многочисленные подвиги сынов великой страны. Окончательно провалился план «Барбаросса», Советский Союз выиграл грандиозную битву под Москвой, оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской областей.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский в книге воспоминаний «Дело всей жизни» писал: «Финал великой битвы под советской столицей имел исключительное морально-по-

литическое значение. Ведь Гитлер в своей агрессивной политике до того момента не знал неудач. Он захватывал одну страну за другой, овладел чуть ли не всей Западной Европой. Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом непобедимости. И вот впервые «непобедимые» немецкие войска были биты, и биты по-настоящему. Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия еще не знала».

Однако говорить о близкой победе советского народа было еще рано. До нее было три с половиной года. И каждый день этого освободительного пути был полон трагизма, ибо каждая пядь родной земли, каждая деревня, поселок, город доставались нам ценой человеческих жизней.

Потерпев поражение под Москвой, враг еще цеплялся за подступы к столице, пополнял свои силы, намеревался оправиться и предпринять новый бросок. В середине января Гитлер приказал создать прочную оборону восточнее Ржева, Вязьмы, Гжатска и Юхнова. Советские войска сделали попытку 25 января овладеть Гжатском. Но безуспешно. Сопротивление гитлеровцев возрастало. На ряде участков они переходили в контрнаступление...

Именно здесь, в двадцати километрах от Гжатска, 8-го февраля 1942 года смертью героя пал рядовой 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии—поэт Николай Майоров. В похоронном извещении указано место гибели—деревня Баренцово. Но это, видимо, ошибка, ибо, как выяснила впоследствии побывавшая



на Смоленщине Ирина Васильевна Пташникова, здесь есть лишь деревня Баранцево. Пожилая крестьянка указала ей недалеко от своего дома место захоронения двух солдат.

Нам неизвестны обстоятельства гибели Николая Майорова, но можно с уверенностью сказать, что смерть он принял достойно: он был готов защитить свою Родину, хотя бы и ценой жизни. И как тут не вспомнить о словах великого полководца Г. К. Жукова, сказавшего: «В ходе ожесточеннейших сражений первого периода войны с особой силой проявились массовый героизм советских воинов и мужество их военачальников, воспитанных нашей ленинской партией. Особенно положительную роль сыграл личный пример коммунистов и комсомольцев, которые, когда это было необходимо, шли на самопожертвование ради победы над врагом».

Поэт-солдат Николай Майоров находится как бы на бессрочной службе у своего народа. Он продолжает служить Родине своими стихами.

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —  
лежим навтыжку, и, приоткрыв гробы,  
мы слышим гром предутренней пальбы,  
призыв охрипшей полковой трубы  
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.  
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.  
В могилах мы построились в отряд  
и ждем приказа нового. И пусть  
не думают, что мертвые не слышат,  
когда о них потомки говорят.

...Мне видится крохотная деревенька Баранцево. Зеленый лужок с чуть приметным холми-

ком. Теплый ветер колышет травы. Небо — высокое и синее. А по этому синему разбросаны белые, округлые, как кипы хлопка, облака. Там, в вышине, ветра нет, иначе он растаскал бы эти кипы на пряжу. Стукнуло ведро о сруб колодца, и этот тугой звон несколько мгновений плывет в тишине летнего полдня...

«Вот здесь и окончился мой тысячекилометровый путь, — слышится мне задумчивый голос Николая. — Родился я, можно сказать, в дороге, и погиб — в пути. Точно, точно в дороге родился... Тятя рассказывал, как в декабре голодного восемнадцатого года, вместе с матерью и Иваном, подался он на заработки в хлебные приволжские края. Мама уже тяжелая мной была. Прихватило ее где-то между Пензой и Сызранью... Дуровка. Деревня такая там была. Тут и родился я. Что за Дуровка? Даже не представляю... Всего несколько недель мне было, когда родители подались назад, в Павликово. Вот и Баранцево... Тоже никогда прежде не слышал о такой деревне. А оказалось, вот где суждено...

Жаль, что многое в жизни не довелось увидеть. Море никогда не видел, гор не видел... Да что там, легче перечислить, что видел: Иваново да Москву, Москву да Иваново. И вечно ездил на третьей полке, «на третьей полке сны запрещены»... Но нет, не напрасно мы тогда положили свои жизни...»

Рядом с крохотным лужком в смоленской деревеньке видятся мне Мамаев курган, Пискаревское кладбище, Хатынь... тысячи и тысячи обелисков, мемориальных комплексов, коммат боевой славы, Вечных Огней на Могилах

Неизвестных Солдат. Это — горе, боль, слезы и гордость нашей Отчизны.

Уже тогда, в 1941 году, Николай Майоров знал, что советский солдат уходит не просто на войну, а — в бессмертие. Поэт безгранично верил в силу и мужество своего народа, в то, что ему суждено совершить историческую миссию.

О нашем времени расскажут.  
Когда пройдем, на нас укажут  
и скажут сыну: — Будь прямой!  
Возьми шинель — прикроешь плечи,  
когда мороз немоготу.  
А тем — прости: им было нечем  
прикрыть бессмертья наготу.

Стихи талантливого юноши нашли дорогу к самому широкому читателю. Посмертно он был принят в Союз писателей СССР. Имя его занесено на мемориальную доску Центрального дома литераторов в Москве. Улица, на которой жил он, та самая 1-я Авиационная, отныне именуется улицей поэта Николая Майорова. Ивановская комсомольская организация назвала его первым лауреатом областной премии имени Ленинского комсомола.

